

СИБИРИАДА

ИВАН  
БАСАРГИН



В горах  
Тигровых

Сибиряда

Иван Басаргин

**В горах Тигровых**

«ВЕЧЕ»

1975

**Басаргин И. У.**

В горах Тигровых / И. У. Басаргин — «ВЕЧЕ»,  
1975 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7186-5

В романе самобытного русского писателя Ивана Ульяновича Басаргина (1930—1976) на протяжении десятилетий прослеживается судьба русских переселенцев, освоивших и защитивших от иноземцев Приамурье и Приморье. Главные герои — династия бунтарей пермяков Силовых, предводителей пестрой крестьянской вольницы, которая и положила начало заселению диких таежных земель.

ISBN 978-5-4484-7186-5

© Басаргин И. У., 1975

© ВЕЧЕ, 1975

## Содержание

Часть первая. Бунтари	6
Часть вторая. Ссылные	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# **Иван Басаргин**

## **В горах тигровых**

© Басаргин И.У., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

\* \* \*

## Часть первая. Бунтари

### 1

Широко, с богатырской уверенностью течет Кама-река. Туманятся тихие плесы по утрам, стонут чайки, крикают утки на заводах и озерах. А когда приходит ночь, то тихо вздыхает, будто ей так же тяжело, как и человеку, который живет на ее берегах. А может быть, жаль ей человека? И как не пожалеть? Стоит над Камой стон, редко слышен над Камой смех. Но плывут над Камой-рекой думки шальные, думки разбойные, думки бунтарские.

Мужицкая река. Всюду мужики, они гонят плоты, тянут баржи, бегают по реке на лодках-плоскодонках. Завшивлены, оборваны, косматы, и души их расхристаны. Это Русь. Это суровое мужицкое лицо. Болтаются на шеях медные кресты, трут шеи грязные гайтаны. Не ново. Тягуче поют бурлаки «Дубинушку», стонливую, привычную. Жарит их солнце, жжет ноги песок. Э, что говорить, долго тебе, Русь, быть завшивленной и косматой, чем-то похожей на медведя после зимней спячки. А что делать?..

Феодосий Силов со товарищи гонят плоты в далекую Астрахань. Отдыхают, радуются солнцу. То не работа – ворочать тяжелыми кормилами, так, баловство. Хотя пока прошли щеки бурных перекатов Камы, не раз приходилось смотреть в лицо смерти. Да и до того, как спустить лес на воду, пришлось поломать спину: со стоном и хрипом волочили бревна к реке, потом сбивали из них длинные и неповоротливые плоты-самокрутки, чтобы сплавить их и продать купцу-барыге. Что заработают? Гроши, за которые и портков новых не справить.

– Э-ге-ге-гей! – орет во всю мочь Феодосий Силов. А голосище у него как иерихонская труба. Таким голосом только мертвых из могил поднимать, когда будет второе явление Христа народу. Заглушит даже трубы архангелов. – Иване, навались, догоняй! – потрясает кулачинами мужик.

Вай! Вай! Вай! – весело откликается Силову прибрежное эхо. Разбудил сонливое.

Андрей, мизинный сын Феодосия, косит родниковые глаза на отца – чего, мол, орет? Здесь так тихо и мирно, что только и подумать о боге, о судьбах людских. А орет Феодосий от избытка сил, а силы у него не занимать, хотя ему уже далеко за полста лет. Ну и пусть орет. Андрей опустил ноги в теплую камскую воду и посматривает на берега. А берег тоже живет: ровными рядами, как солдаты, что идут в наступление, шли мужики, косы поднимались враз, дружно, падали к ногам травы покорные. Это крепостные косили сено для помещика. Свое будут косить потом, косить в убогих ложках, на засушливых угодьях.

Травы... Вот эти-то травы и стояли перед глазами Андрея, а над ними протяжный крик, как стон чайки: «Ан-дрей-ей! Вернись! Андре-ей! Судьба моя!» – так кричала Софка Пятышина. От этого крика и сейчас холодеет под сердцем, тягостно на душе...

...Вот они идут по росистым травам, бредут по ним, как по воде. Софка же оплела шею Андрея своими гибкими руками и ведет его к звездам, что припали к земле. А потом они целовались. Было жарко и необычно. Потом был «блуд великий», от него-то и бежал Андрей. Не мог не бежать Андрей от Софки. Набожный, чистый, не принял Софкиной любви...

Было с чего. Андрея обучал грамоте и воспитывал в духе божьем Ефим Жданов, самый честный человек в деревне. Таким его принимал Андрей. Говорил Ефим: «Прелюбодеяние – грех великий». Но забыл старый, что первая любовь – чиста и безгрешна. Первая любовь – это первый следок судьбы, первые радости земные. Все забыл с годами старик.

«Андрей-ей!» – повис чей-то крик над рекой, Андрей вздрогнул и обернулся. «Андрей, гребни доселева, пора мужикам едому нести».



«Блазнить стало. Ну на кой ляд мне видится Софка? Ить, кажись, мне любигся Варя. Варя добрая, тихая, а Софка огнистая, жаркушая. Боюсь я ее. Господи, прости мой грех!» – перекрестился Андрей, встал, подошел к отцу и принял из его рук кормило. Задним кормилом ворочал Ефим Жданов.

– Пороби, пороби, с души болесть сойдет, – усмехнулся отец, будто прочитал думы сына.  
«Андре-ей! Ты судьба моя!»

Софка упала в травы и забила в тяжелом плаче, задохнулась в душевном крике. А Андрей убегал. От себя убегал. От любовного неистовства Софки убегал. Только можно ли от любви убегать? Убежал. А потом пришла другая любовь, тихая, божеская, где только было касание рук, тихий смех, тепло под сердцем. Софка однажды бросила Андрею: «Ты еще вспомнишь меня. Не одну маету за первую любовь примешь. Богом прикрылся, но знай: то было тоже божье...»

Навстречу тянули баржу бурлаки, тяжело, насадно тянули. Они тоже будут тянуть баржу от Астрахани до Перми. Не пойдешь же пешком в такую, даль зря. Деньги проешь, что заработал на плотях. Тогда и на глаза домой не показывайся. Каждый должен нести копейку в дом, копейку на царскую подать. И быть Андрею в общей связке, петь Андрею «Дубинушку». Хотя он и молод, но во всем горазд; и плот свяжет, и дом срубит, а ко всему рослый, широкоплечий, а уж силушки ему не занимать стать. Силовской родовой, чего уж там. Хотя он обличьем не похож на Силowych, по-монгольски скуластых, чернявых, будто с одной колодки шитых. Андрей же белокур, да так белокур, как одуванчик после цветения. Дунь на его кудряшки, и кажется, что они пухом разлетятся по сторонам. Глаза – небо голубое, если не голубей, а там тихая тоска утонула. Андрей пошел в мать-пермячку, робкую и податливую во всем, – Меланью. Да и душой в нее, не соврет, не обманет, не попрекнет бога за тягости, что шлет он на людей. Ходит мягко, с чуть отрешенным видом, часто напевает молитвы.

Не любо такое Феодосию. Сам горяч, резок на словах и в деле. Даже порой жесток, если это надо. Хочет видеть сына таким же, как сам. Привязал его к себе, как веревкой. Задумка есть – выбить из сына душевную хлипкость работой, обозлить тяготами, голодом, частым гостем у мужиков, чтобы он излил свою душу в злой матюжине, чтобы закричал во всю силу легких от радости, если она есть, силу бы в этом крике испытал, берега бы разбудил. Но Андрей пока оставался самим собой.

Ползут плоты. Вот они прошли Оханск, протянулись мимо родной Осиновки, но недосуг забежать мужикам к своим, зудкое тело в печи попарить, вшу выжарить. Надо спешить, следом тянутся плоты, падет цена на лес – в прогаре будут. Да и к жатве надо поспеть, хлеба наливаются ядреными колосьями. И каждому хочется, особенно голове семьи, нажать первую горсть хлеба.

Течет Кама-река. Просторны ее берега, широки заводи. Поодаль тянутся угорья, чуть ниже ложки, долинки, луга заливные. Не земля, а радость мужицкая, хоть она и потлива, не всегда урожайна, но побольше бы такой земли – и мужик бы поднялся на ноги. Но не мужицкая это земля. Чужая земля: то помещичья, то купеческая, то государева. Силковы, Воровы, Ждановы – все это государевы люди. Будто и вольны, но от подати их государь не освободил. А уж подать, будь она проклята, все на нее уходит: и деньги, что будут заработаны, и урожай, что зреет на пашнях. Платить так, за спаси Христос! Государева земля, а почему не мужицкая? Чудно устроен мир: мужик пашет, мужик сеет, но сеятель не ест вдоволь хлеба.

– А про ча я должен кормить царя? Пошто я кормлю воров и нищих? – орет на Ефима Жданова Феодосий.

– Хэ, дура, а рази ты не понимаешь слова «муж». Муж – значитца голова всему существу на земле. А раз голова, то и корми всех: кто богат, кто нищ, – спокойно отвечал Жданов.

– Умен! А пошто я должен кормить всех?

– Так бог повелел. Кормить во искупление грехов своих.

– Бог повелел? Так пусть бы он мне дал земли поболее да чуток продыху, тогда бы я богу в ноги поклонился, государю тожить. А так я не боле как раб божий, раб царский. А так всякая тебе в душу лезет да с ложкой в твою чашку. Дай мне волю, я бы засыпал Расею хлебом, вот те крест, по маковку бы засыпал...

Течет Кама-река, ложатся на угорья тихие ночи, звездные, мудрые: с комариным звоном, тихим шелестом волн, с шепотом зреющих хлебов, ржанных, сытных. Спят плоты, уткнувшись в берег. Лишь не до сна людям. Та же печаль, те же думы спать не дают. Нудят душу. Ефим Жданов доит свою козлиную бороду, тянет руки к огню, шмыгает острым носом, миролюбиво гудит:

– Все дано от бога, во всем дела божьи. Ни один волос не падет с головы человека без веления бога.

– Ха-ха! Знать, оттого ты и лыс стал, что бог того восхотел? Врешь! Не божии то дела! – рыкает Феодосий – Куда ни плюнь, все не в радость!

– Грешно такое говорить. Бог на небеси, он все зрит. Все!

– Ежли бы зрил, рази бы слал такую маету на мужика? Как я ни кряхти, а нонче и пятой части подати не смогу выплатить. Две части с хлеба, три с отхода. Долгов с прошлого года рублей на пятнадцать набралось. Вот и считай, что зряшно я вшу кормил. Так и так розог не миновать.

– Бунтовать надо, – ворчит Иван Воров. – Бунтовать!

– Бунтовать, а кого в голову? То-то. Нет у нас головы, потому нишкните. Много бунтуем, а толку мало. На наших спинах вороги росписи делают, – рыкает и на Борова Феодосий.

– А что делать?

– Уповать на бога, а не бунтовать. Все идет от бога, даже вша – и та божий плод. За муки наши, за радение наше апостол Петр откроет нам райские ворота. И будем мы жить в тиши и песнопении.

– Заткнись! Я хочу здесь слышать ту тишь и песнопение. Эх, знать бы в точности свою судьбу, тогда пошел бы я по ее следам и никуда бы не сворачивал. Но не знаю. А коль не знаю, то и плыву за ней, как наши плоты по воде.

– Тятя, а тятя, не ярись, след наших судеб ведом только богу. И даже в худом можно видеть красоту и божье творение на этой земле. Ты послушай, послушай, как шепчется ночь. А? Ажно душа млеет от этой тиши райской, благодати земной. Чего же ругать бога и судьбу свою?

– Не юродствуй! – еще сильнее взорвался Феодосий. Ему стыдно было за сына. Такое говорить при мужиках, они вон и глаза опустили. Твоя, Ефим, работа! Исделал сына юродивым: бог, пташечки, райское песнопение. Вот заведет Андрей семью, тогда познает желчь, которая не одна у него отрыгнется. Головой будет, весь и спрос с него, не раз снимет порты да ляжет на лавку дубовую под розги березовые. Забудет думать о тихих ночах и тиши райской.

– Эх, Феодосий, Феодосий, гореть тебе в геенне огненной. Супротив бога идешь, туда же сына зовешь.

– Нишкни! Отнял сына. Хрена бы вам с редькой вместо хлеба, – может бы, начисто бога забыли. Запели бы другое. У, козел божий!..

Таким спорам нет конца. Сколько помнят этих друзей люди, столько они и спорят. Но раньше Феодосий бога не клял, с опаской говорил, что он, мол, творит что-то не так, сейчас же стал даже матом его крыть. Далеко зашел мужик, далеко! Раньше он спор кончал такими словами: «Кому быть повешенным, тот не утонет. Судьба не дозволит, а судьба – дело темное, как и завтрашний день». Сейчас же добавлял к этому: «Бог тоже дело темное, пожалуй, темней судьбы и завтрашнего дня». Приказывал спать.

Дремала ночь. Далеко, за угорьем, метались сполохи. То ли горело какое-то село, то ли мужики взбунтовались и жгут помещика. Такое здесь не в новинку.



Андрей шагнул от костра и лег в травы. Еще не росные, еще теплые. Лежал и слушал перезвон кузнечиков, тонкий напев комаров, шумные вздохи реки. Смотрел, как плакала июльская ночь звездами, среди них плескалась луна. Он еще чист душой, не накопилась в нем злоба, не заматерело сердце от невзгод, чтобы все это выплеснулось в заполошном крике: «Бей! Круши! Бога мать!...»

Так дни и ночи. Отдохнули. Продали лес в Астрахани, не свой лес, с этого леса добрая половина денег пойдет купцу, что держит сплав в верховьях Камы. Нанялись тянуть баржу с солью. Не привыкать, уменья не занимать. Каждое плесо знают, каждую мель ногами промеряли. Дотянут. На то они и мужики, а мужик все должен мочь: плоты вязать, гнать их по рекам, тянуть баржи, пахать, сеять, жать, выжигать уголь для заводов, железо плавить, травы косить, мраморные дворцы строить для царя и вельмож. На мужике Русь держится, как земля на трех китах. Феодосий уже не спорит с Ефимом Ждановым. Спор пустой, от него мужику легче не будет. Живет и рассказывает о прошлом. Не верится в то, что он говорит, но и за сказ мужик деньги не просит. Отчего же не послушать.

– Вольна была эта земля, – начинал Феодосий, тянул клешнястые руки к костру, тяжелые, с вьевшейся навсегда пылью, – вольны были здесь думы, вольны в делах своих люди. Во времена заполошного царя Ивана Грозного бежал сюда мой пращур, бежал от боярина, чтобы быть вольным стать. Пришел на Каму-реку, поклонился ей, воды испил, и возрадовалось сердце... Его мирно встретили тихие и добрые зыряне и пермяки. Пригрели они вольнодумца, обласкали, дали землю, построили дом. Жили те люди в достатке, может, потому и были добры и покладисты. При нищете – добрым не будешь. У тех людей главным богом был бог Лен, творец всего сущего на земле. Он, как добрый дедушка, коему и спешить-то некуда, учил людей пониманию жизни и мудрости. И люди те не ведали даже слова «грех». Все они были чисты и безгрешны, потому как бог все грехи людские на себя взял. Ибо все люди есть дети божьи, и он за каждого в ответе.

В лесах жил другой бог – Вор Айка. Он тоже не сидел без дела, а очищал леса от болестей, от гнили, берег их, зверя холил. И люд шел в те леса не за корыстью, а за очищением души своей. Ибо лес делает человека добрее, выше и мудрее в думках своих. И люди любили свои леса, берегли каждое деревце, считали, что оно тоже может кричать от боли, ежели не в дело его пущать.

Хлеба и пашни защищала добрая богиня Вушерка, девственница и доброхотица. Не давала скудеть земле, болеть хлебам. Сама была чиста, ако росы, делала такими же чистыми и людей своих. Люди любили Вушерку, поклонялись ей как дивной бабе...

Долго жили те люди в чистоте и доброте, в тиши лесной и птичьим песнопении, пока не пришел к ним монах Стефан. Пришел и отнял у них веру, дал единого бога, а с тем богом грехи людские, муки душевные. Принес дьявола и чертей, домового и водяного. Сумел повести за собой тех мирных зырян и пермяков, а они, сами не ведая всей пагубности, возвели этого монаха-брандахлыста во святые, назвав его Стефаном Пермским.

А скоро пожаловал сюда и разбойный атаман Ермак. Стефан пленил души пермяков и зырян, а Ермак пленил все, подвел и пращура нашего и этих людей под высокую руку царя. Порушил мир, добро затоптал...

– Дух твой, Феодосий, сомустил дьявол. Ты такое снова говоришь о святых и боге, что страхотно делается, мурашки бегают по спине, – вставил Ефим.

– Не мешай. Может быть, и запутался я в богах-то, ежели бы вернулись сюда те боги, то ушел бы я к ним. Добра в нашем боге едином, да еще в трех лицах, трехликий он, а может быть, двоедушный ко всему. Ежели нет добра на земле, то не может быть его и в раю, ибо земля и рай – это все божье. Бабу узнают по сарафану: чист – знать и в доме все чисто и угоено, тогда и душа добра и чиста. Мужика узнают по его воротам: ежели они прямые и красивые, знать, в доме достаток и мужик не ленив. О нас, конечно, такое не скажешь, просто мы захирели

душой и телом. Бога же – по его делам. Царя – по мужику. Чист и сыт мужик – знать, и помыслы царя и дела его чисты, людские, человеческие. Наш же царь и наш бог будто спелись, дуют в одну дуду, а жисти мужикам не дают, ездят на них, как на клячах, выбивают последний дух розгами.

– Изыди, нечистая сила, – махал длинными руками Ефим.

– А ты помолись, может быть, и убежит из моей души сатана. Не убежит, крепко прижился. Дай досказать, пусть люд судит, кого мы славим, кому молимся. Вот и ответь мне, Ефим: ежели я лба с утра не перекрестил, знать, я грешник?

– Тако, тако, – кивал бородой Ефим.

– Нет, не тако, я святой, Ефимушко, я вламываю, как кобылица, я люд кормлю, божьего помазанника тоже, Расею кормлю, чтобы она была крепка, не уступала бы ворогу в силе. А мы бездельника, кой жрет мой хлеб, сидит в пустыне, – во святые. Во святые за то, что он лоб свой бьет денно и нощно, пошто бы ему также не поробить на пашне аль еще где? Святых развелось поболее, чем у меня вошей. И все они корыстны и подлодушны, бо мечтают о своем бессмертии, о райской жизни. Вот ежели бы они держали свое тело в посте и молили бы бога, чтобы он и в загробной жизни послал бы их в ад, тогда бы я поверил в их святость. А так не могли и говорить мне об их святости.

– С такими помыслами я бы тебя посередке оставил, чтобы ты маялся между раем и адом. Чтобы ты познал и бога и дьявола.

– Ха-ха! Все ты врешь, бо ты есть путаник и божий козел. Стара присказка, мол, хлеб ести в поте лица своего. Я ем-то в поте, а помещик только и потеет, когда чай с малиной пьет. Тоже метит в рай. Вот ежели уж кто заслужил рай, то мой дед Евлампий. Он, ног не жалея, руды и золото всю жисть искал. Все, что находил, то передавал купцу Демидову. И вот нашел он золото и россыпь камней самоцветных на земле Строгановых. Прознал Строганов про находку и давай улещать деда посулами. Евлампий ни в какую: мол, дал слово служить Демидовым верой и правдой и от того слова не откажусь. Не отказался, хоть Строганов и обещал деду купеческое звание, сгнил в темнице подземной, но остался верен слову. А с той поры Силовы дали обет не искать злата и камня самоцветного. А вот ты, Ефимушка, корыстен, умре твой брат, что же ты сделал? Ты у его женки половину земли оттяпал. Вот и вся твоя святость, вся доброта. Теперь ответствуй: может стать святым Евлампий?

– За долготерпение он стал святым. Бог избрал народ свой для долготерпения, он сам много терпел и нам то же делать велел. Мы должны нести крест мучеников, как он нес его на Голгофу.

– Эхе-хе, упрям ты, Ефим, как козел урядника, все-то гундосишь свое.

– Бог такое в душу вселил.

– Надоед! Не дал досказать дивный сказ. Да уж ладно, от него в душе болесть, обойдетесь. О боге же нашем скажу, что он стар, пото глух к молитвам нашим. Надыть бы выбрать бога помоложе, чтобы за каждого радел, робил бы на нас, а не супротив нас.

– Не могли такое говорить, предадут анафеме! Живьем сожгут!

– Ты сожгешь? Ты предашь попу-блуднику? Меня и мою дружбу предашь?

– Ради бога все мочно.

– Эх, житуха! Бог мает душу, а попы и царь – тело.

– Попы – божьи пастыри, а царь за бога на земле, а мы их овцы...

– Коих ведут под нож, – закончил Феодосий, вздохнул и улегся спать.

– Топоры точить надыть! – проворчал Иван Воров и тоже отполз от костра подремать.

Расползлись и другие. Стало тихо и мирно на земле ночной.

Мужики вернулись к жатве. Хлеба родились добрые, сочные, так и просились на серп, в горсть мужицкую, ласковую, сильную. И зря нудился Силон, зря, больше половины подати уплатил, и с отхода, и с хлебов. А впереди еще зима, уйдут с сыном уголь для демидовских заводов выжигать, остальные же сыновья уйдут валить лес помещику. Копейка к копейке –

рубль. Смотришь, и открутится от розог голова Силовых. Урядник тоже в эту осень был покладист, его женка, Любка, родила рыжего мальчонку, – правда, не похож на урядника, но не беда: чей бы бычок ни прыгал, а теленочек наш, так говорят в народе. Урядник даже пивом угостил мужиков. Они, тоже добрые от богатого урожая и угощения, помогли уряднику хлеба сжать, сено вывезти на подворье. Известное дело, рука руку моет, то обе чисты будут.

И вот с колючими ветрами ушли жечь уголь Феодосий и Андрей. Ушли надолго, вернутся с талым снегом.

## 2

Урал. Каменный пряс земли. Круты здесь горы, высоки их вершины, столь высоки, что даже пахнут ленивые облака. На замшелых скалах выют свои гнезда орлы, спят в обнимку с туманами. Полощутся в бездонных озерах звезды, там же купается корявая луна. Густы леса, в лесах звери. Здесь можно, как говорят, не сходя с места, отковать меч из взятого из земли железа, осыпать его рукоять самоцветами, сделать золотую роспись. Все есть на Урале.

А Урал, как старая песня, легендами и сказаниями оброс. Много тайн утонуло в его земле, озерах, затерялось в глухих распадах, затаилось в пещерах. Не отыскать их, не прознать. И живет Урал, копит в себе тайны людские...

Просторна, но низка землянка Феодосия Силова. Строил он ее такой, потому что сюда собираются углежог в долгие зимние вечера, спорят о делах мирских, поругивают царя, его ярыг, но в то же время не теряют надежд на лучшие времена. Должны они быть. Но когда?

Забегают на огонек лучины бродяги, от них Феодосий узнает, что творится на земле, о чем говорят люди.

Вот и в тот памятный вечер, который заронил дивную мечту в сердце сурового пермяка, Феодосий сидел глыбой на чурке, по привычке тянул лапищи к каменной печи, хмурил мшистые брови, розовела от огненных сполохов борода, черная, вразмах, вразлет, трепетали от гнева ноздри широкого носа, не по душе Силову разговор. Напружинился, сейчас прыгнет на человека, сомнет его. Но божий странник не хотел замечать палящего взгляда, ровно говорил:

– Да, я старовер-беспоповец. Бегун. Наше бегунство идет от святого Ефимия. Тако мы боремся со злом царским. Наш путь спасения – это не думать о чадах, о женках, о доме, о торгах, стяжаниях, иже не имати ни града, ни села, бегати, досаждати антихристу, не платить подати, не признавать власти, убежать от солдатчины, не давать присяги...

– Брысь! – рыкнул Феодосий – Дурно ваше учение, ако песья блевотина. Бежать! Скрываться! Для ча? От кого? Детей, женок – все бросить? Тронься за вами вся Расея, то все с голодухи подохнем. Другой сказ, ежли бы бунтовали супротив царя, то я с вами. Оружье грешно в руки брать? Тогда мы вам не будем давать едому, гнать вас в шею, посмотрим, что вы запоете. Вон на холод и в ночь, пусть бог тебе даст крышу и тепло! Вон!

– Обозлено твое сердце, бежим, в бегах оно помягчает.

– Вон, чтобыть и глаза мои тебя не видели! Я тоже был раскольников, двуперстием крестил лоб, но за то двуперстие надобно двойную подать платить. Так пусть бог рассудит меня, прав я аль нет, что стал щепотью креститься. А Ефимия я вашего знавал. Дезертир он и моталка. Пользности от его учения нет ни ему, ни люду. Вон! – уже устало гнал бегуна Феодосий.

Ушел бегун. Феодосий повернулся к сыну, что лежал на нарах, сказал:

– Дурак – бегать. А куда вас девать? Мне за каждую душу надобно подушной подати заплатить по девяносто коп и еще одна, да оброчных по два рубля да еще семьдесят коп. А он – бегать. Вас же засекут до смерти. Эх, Пугачева бы сызнова сюда! Вот энто бы для нас приемлемо было.

– Пугач был вор и божий отступник, не от бога он пришел к люду. Царь просто не знает, как мыкается народ, лиходеи-богачи скрывают от него правду.

– Эх ты, младен, царь все знает и ведает, только его голова не добирает, как исделать Русь могутной, а народ сытым. К нашей земле нужен головатый царь, а может быть, мужицкий царь, кой бы наперво поел нашего хлеба, а уж потом в цари...

Не остыл еще Феодосий от гнева на бегуна, как открылась дверь, ворвались морозный пар и свежий воздух, шагнул другой бродяга. Перекрестился тоже двуперстием, бросил:

– Здорово ли живете, мужики?

– Спаси тя Христос, как все люди на Руси, – со злой усмешкой ответил Феодосий – Милости просим к столу, не царский, не боярский, но поесть можно. Чаек, правда, на малиновом листе, хлебушко наполовину с сосновой корой. Може, сдобы подать?

– Спаси тя Христос, сдобы давно не едал, да еда-то жидкая, только пучит, сытности нету в животе. А хлеб с корой посильнее будет, только тяжко с него живот простать. Ну да мы привышные. Каторга и похуже едала хлеба.

– Э, да ты каторга? Отпустили аль как?

– Бежал. Оттель никого не отпускают. Почти всех ногами вперед выносят, то уж отпуск долгий.

– Где томился?

– В земле Даурской.

– Эко куда занесло! Так, а сам-то откель будешь?

– Да вашенский, только чуток будет севернее, в самой тайге, там наша братия жила. На каторгу-то попал из-за помещика. Он повадился ездить к нам на охоту, почал сманивать мою женку, на прелюбодеяние соблазнять. Вот и шоркнул я его в логу. Сдох, как кобель. Прознали, мне вечную каторгу, женку в крепостные, а братию тоже туда, многие сбежали, а часть будто так и осталась в крепости у помещика. Пять раз убегал, на шестой повезло.

– А как поймают?

– Ну и че, вечная, она есть вечная, поймают, более уже добавлять некуда. Иду, чтобы женку свою отнять и снова туда же. – На каторгу?

– Да нет же, для ча бы я туда перся, побегу в Беловодское царство, там, брат, житуха райская.

– Куды, куды?

– Да не кудыкай под руку-то. Есть такое царство, только далеконок отсюда будет. Мужичье царство. – Пошто же мы не знаем про то царство? – потянулся Феодосий к каторжнику.

– А пото, что о нем не каждому говорят, вот глянул на тебя и враз поверил, потому как ты черней грозовой тучи сидишь в этой завалюхе, знать, о чем-то думаешь. Таким вот и сказываю про то Беловодье. Потом же, туда надо звать мужиков с крепким умом, да чаще мучеников царских. Гля. – Каторжник поднял косматые волосы со лба, углежоги увидели темное клеймо «К». – А вот здесь, под бородой, на правой щеке, стоит буква «А», на левой же «Т», вот и читается «КАТ». Таких туда примают. Бывал в том Беловодье нашенский, из каторжан, прознал все честь по чести, вернулся, чтобы своих набрать для подмоги тому царству, но его схватили ярыги, захлестали плетями. Успел он сказать, что там нет царя, попов; раз нет тех и других, то нет и податей. Люд живет, робит с песнями, все сыты, все одеты. Главит то царство мужичье вече. Словом, как писано в Святом Писании, то царство и есть земля обетованная.

– Садись поешь, чать, голоден с дороги.

Каторжник ел, подставляя руку под кусок хлеба, чтобы ни одна крошка не упала на пол. Грешно хлебом сорить. Поел. Феодосий начал тормошить:

– Расскажи точнехонько, где лежит то царство?

– Раззудил. Не ошибся, кому сказать про то царство. Быть тебе там. Лежит оно, значитца, на берегу окиян-моря. Это, значитца, надо пройти всю Сибирь, миновать землю Даурскую, за море-Байкал перейти, значитца, потом бежать вдоль берегов большой-пребольшой рекой Амури, та река-то и приведет в Беловодье.

– Сколько же шел с земли Даурской?

– Почитай два года. А до того царства надо чапать еще полгода, может, чуть поболее. Я побегу туда. Заберу женку и побегу.

– М-да, – протянул Феодосий, хрустко почесал бороду. – Ходоков бы туда послать, все прознать, – может быть, и мы бы тронулись скопом.

– Ходоки – пустое дело. В одиночку туда трудно будет пробиться: тайга, звери, казачьи посты. Надо уходить большой общиной, так сподручнее. Найдутся и у меня дружки, кои хотят воли, земли, чистой жизни. От Усть-Стрелки и побежим.

– Каторга аль вольные?

– Каторга. Люд же, что живет на берегах Амури, добр и покладист. Ты не трогай – и ты не тронут.

– Что делал-то на каторге?

– Для царской казны золото мыл, чего же боле. Спаси Христос за хлеб, за соль, пошел я, ночь – моя попутчица.

Ушел каторжанин в ночь, ушел и оставил в душе Феодосия смятение и мечту, не то что тот бегун-раскольник. И задумался: «А ежели правду сказал этот человек? Ежели есть такое царство, то ить бежать надо, и немедля!..»

Утром приехал приказчик, осмотрел уголь и сказал:

– Худой уголек, уплачу по копейке за короб и не боле.

Феодосий, было с ним и раньше такое, подошел к приказчику Никодиму, выдернул из-за пояса топор и заревел:

– Порешу супостата! До коих пор будешь обманывать нас?!

Никодим сиганул за спины возчиков, оттуда быстро-быстро заговорил:

– Дэк ить такое приказал сам Франц. Демидов с него деньгу требует. Его женка – племянница самого Наполеона, она будто восхотела купить корабель, чтобы на нем весь свет объехать. Сам же Демидов будто купил средь моря остров, стал зваться князем Сан-Донато. Понимать надо. Не всяк женат на такой бабе.

– Пусть он женится хошь на самом Полеоне, мы тут ни при чем. Уголек ажно звенит, ни разу огонь не пробился через землю, стомили лучше, чем баба томит молоко в печи. Три копейки короб, аль я тебе башку отрублю.

– Не пужай, Феодосий Тимофеевич, я пужанный, у меня сердце пужаное; так и быть, по три копейки заплачу, но другим об этом ни слова, – умолял приказчик.

Сошлись. Феодосий ссыпал серебро в кожаный мешочек и повесил его на шею, рядом с крестом. И тут же послал Андрея, чтобы он рассказал другим углежогам, как заставил он раскошелиться Никодима. Шум был великий. Никодим, взбешенный, ускакал на завод. Углежоги собрались у закопушки Силова. Судили, рядили, сговорились не продавать уголь дешевле трех копеек короб.

– Кругом обман, лиходейство! Каждый норовит зачерпнуть ложкой поболее, да со дна. Никодим нас обманывал всю зиму; почитай, скоро марту конец, а что мы заробили? И врет все Никодим, что того требует немец. Сдался он потому, что вор.

Тихо в уральском лесу. Дремят старые горы, слушают могучий бас Феодосия Силова, его бунтарские речи. А вокруг толпа углежогов. Он говорил:

– Ворам надоть сечь руки, головы. Царь и его ярыги называли нашего мужицкого царя Петра Федоровича вором, будто тоже отрубили ему голову. Но то неправда, наш царь Петр ходит промеж нас, чтобы снова поднять народ на бунт великий. Бунтовать царя, бунтовать

церковь, всю никонианскую ересь побоку, царя тоже – и заживем по старинке, тихо и мирно, как жили здесь наши предки...

Смотрели мужики на Феодосия, мысленно подравнивали бороду, одевали его в царские одежды – и все сходились на том, что это и есть богом спасенный Петр Федорович, атаман Пугачев. Годы не сходились. Но ежели бог спас Петра от лютой смерти, то почему бы не продлить ему жизнь, молодость?

– Тиха ты о расколе-то, – шикал на Феодосия Ефим Жданов. – За брань православной веры сожгут в срубе. А тех, кто раскаялся и снова ушел в раскол, казнят смертью.

– От чудило, от бухало, какая разница – сожгут тебя в срубе или казнят? Одна смерть.

А кое-кто тихо спрашивал Феодосия, уж не он ли богом спасенный царь?

– Куда мне до царя? Головой не вышел. Но доведись править миром, то правил бы не хуже Николашки-полудурка. А че? Ить мой дядя Селивон при Пугачеве был полковником. Воевал ладно, умно, не раз бегали от него супротивники.

Сказывали старики, что Пугачев был великой силы человек. Феодосий тоже был в силе. Однажды на него прыснул медведь, этак пудов на десять, Феодосий схватил космача поперек и бросил его под обрыв, только камни загремели. Ефим Жданов позавидовал, сказал:

– Мне бы такую силушку, пра, мир бы к ногам положил.

Но пока он кричал:

– Не подбивай народ на бунт. Аль забыл картофельный бунт? После него едва кровями отхаркались, снова нас под палки зовешь? Шли супротив «чертова яблока», а теперь без него редкое застолье обходится. Знать, зря бунтовали. Боялись еще, что нас продадут барину, из казенных крепостными сделают. Враки оказались.

Картофельный бунт подняли заполошные раскольники. Они писали, что кто будет есть «чертово яблоко», погибнет, на земле случится мор великий, так-де царь-антихрист хочет.

– Теперича те же раскольники торскают ту картошку, ажно за ушами трещит.

– Не гуни, придет наш царь – и все будет в ладах.

– Никто не придет, акромья Иисуса Христа. Пугач был Вор. А секут нас праведно, чуток ума через заднее место доставляют. Ты переметчик, я же никогда не изменю своему второму крещению. А царя бунтовать – снова бога бунтовать! – визжал Ефим.

– А рази я не об этом же тебе говорил, что надо бунтовать сразу царя и бога? А потом, рази бы бунтовал я царя, ежели бы пузо мое было сыто? Пусть меня накормят, оденут, дадут в руки надею вместо посоха странника, и я буду им друг закадычный. Так же я им враг до гробовой доски! – гремел Феодосий.

– Не можно так, мы на земле гости, на Небеси будем хозяева. Кто больше мук примет здесь, тому слаще будет жисть в раю.

– Тьфу! Сколько можно говорить тебе, что царь и его ярыги давно спелись с богом и ездят на наших хребтинах, кои к животам приросли. Они сыты. Тоже пришли сюда для испытания крепости божьей? Чего же тогда не испытывают?

– Они пришли от дьявола, – не отступал Ефим. – Гореть им в геенне огненной!

– Ладно, спорить нам некогда, надо поднимать народ на бунт. Ермилу кликнуть, он подымет заводских, всех углежогов сюда, топоры, колья – и айда рушить завод, бить воров!

Но молчали углежог. Пожимали плечами, мол, мы не супротив бунта, но домой пора, унести бы эти гроши, что заработали, за плуг, да землю подымать, – может быть, земля выручит. Чесали вшивые затылки, бороды, по одному начали расходиться.

Расползлись по своим закопушкам. Феодосий сел на пень и глубоко задумался: «А может быть, зря я зову народ на драчку? Может быть, уйти и нам с миром, а там готовить своих на переход в Беловодье? А этот люд с разных мест, пужлив. Не вытянем, зря сгинем. Э, че говорить...»

Вспомнились слова каторжника: «Велика Русь, велика! Земель край непочат, а люд голоден, космат. От ча? А от та, что царь дан народу от дьявола, а не божий он помазанник, антихристов. Вот и гнет люд, ломает, кровями его упивается, над горем надсмехается. Вампир, чисто вампир. Только праредным царем, божьим царем – можно поднять Русь...»

Не додумал своего Феодосий, приехал управляющий с казаками, приказчик. Казаки навалились на бунтаря, скрутили веревками, будто спеленали. Андрей сдался без боя. Где уж такому воевать, душой слаб. А Урал молчал. Хмурилось небо. Из-за туч трусливо выглянуло солнце и тут же спряталось. И углежоги тоже хороши, видели, как вязали Силовых, но выручать не пришли. Чужая беда, чего встревать? Уходили к своим ямам, чтобы не прорвался огонь, не испортил бы уголь.

– Ви хотите поднимайт бунт, ви будет сидет темный места, немного думайт, штраф за бунт я забирайт, потом пускайт домой. Вы помирайт не будет, ви будет потом еще уголь сжигайт.

– Не поднимали мы бунта. Никодим обманул нас, за короб платил по копейке, потом враз заплатил по три копейки.

– Никодим правильно делает, это я ему скажаль, сколько можно платить.

– Ежли мы сделали худо, то пусть нас судит губернский суд, а пошто же сразу-то в темницу?

– Я сам есть губернский суд, сам есть на этой земле царь. Ви не ругайтся, а проси меня, тогда суд будет лючше.

Силовых долго вели по подземелью. На голову текла вода, под лаптями тоже хлюпала вода. Привели в каменный грот, сняли наручники и тут же приковали к железным цепям.

– Ну, сынок, кажись, все. Отселева одна дорога – в могилу. Заживо сопреем.

– Бог не даст сгинуть. Будем молиться денно и ночью – и спасемся.

Андрей, чуть гнусава, читал псалмы:

– «Да воскреснет бог и расточатся врази его, и да убежат от лица его ненавидящие. Ако исчезает дым, тако исчезнут врази его, ако тает воск от лица огня, тако погибнут грешники от лица божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются...»

– Цыц! Щанок, нишкни! И нече тута читать молитвы по усопшим, живы еще! Не выйдет из тебя ладного мужика. Сгубил тебя Ефим.

– Не хулил бы бога, то не были бы мы здесь. Все через тебя нас сюда бросили. Ладно, выпускайт, а коль нет, то без отпевания и покаяния сгинем. Но надо уповать на бога, бог не забывает любящих его, а супротивников карает.

Тьма непроглядная, писк крыс, зловоние трупное, хруст чьих-то костей под ногами.

### 3

Крепки демидовские темницы. Запахом тлена провоняли они. Врос тот запах в серые камни, не выветрится во веки веков. Андрей пытался вести счет дням, но скоро бросил, ведь здесь не было дня, ночь и ночь. Феодосий посмеивался над сыном:

– Вначале бог сотворил землю и небо. Потом разлучил свет с тьмою. Нарече свет днем, а тьму ночью. Вот и попроси бога, чтобыть он послал сюда день. Не может? Грешники? Тогда будем терпеть и энту муку, не привыкать. На люд не обижаюсь, пуган, забит, поднять будет трудно. Уходить будем на поиски Беловодского царства. Нету средь люда той крепости, какая есть у раскольников. Те горло перегрызут недругу. А наши, э, что говорить, сгинем мы туточки. И Варюшка твоя знать не будет, где преют твои косточки.

Крысы толклись под ногами, кусались. Узники топтали их, гремели цепями, спали по очереди: могут живьем съесть. Один раз в день спускался горбун, чтобы подать узникам по плошке похлебки и снова молча уйти. На вопросы не отвечал.



Андрей, чтобы не сойти с ума, читал молитвы, теперь уже не мешал ему отец. Он тоже был на грани сумасшествия. Молитвы не читал, а крыл всех святых и грешных матюжиной, злой, сочной, набористой.

А голос Андрея журчал в подземелье, чистый, звонкий. Подземелье его удесятерило, молитвы мощно раздавались под сводами, троились.

– Добрая у тебя душа, Андрей. Но в этом мире надо имати и злобинку. Сломят, душу загадят. Бунтовал народ не ты, а я, так пошто же ты не ругаешь меня? Грамотен ты зело. За грамотность спасибо Ефиму. Но Ефим сволочь, обучили его грамоте раскольники, бежал он от них, потом затеял войну против раскольников. Был бит, но не убит. К нам приполз. Отходили. Э, что говорить, человек веру может сменить многожды... Давно приметил. Только непонятен мне царь. Рази будет хозяин усталого быка кнутом стегать? Он, ежли бык не тянет воз в гору, то плечом подопрет, то словом подбодрит. А царь, рази он таков?

– Сокрыта от царя правда, сокрыта. Царь пребываше в темноте.

– Но ить есть бог, он все ведает, вот и вразумил бы неразумного царя.

– Вразумит, придет час, вразумит. Всех на том свете рассудит.

– М-да, рассудит. Ить чуток было сказано нашенской правды, за то темница. Ефим, твой учитель, поди, уже хлеба посеял, молится за упокой наших душ, свету радуется.

Болящий здоровому – не товарищ. А над пашнями поют жаворонки, трезвонят божьи птахи. Хорошо на пашне-то. Дух земной так и шибает в нос. Хорошо!

– Да замолчи ты, тятя! – впервые вырвался крик у Андрея.

– О, энто уже ладно, энто уже по-нашенски. Давай еще, да матом отца-то. Не бойся, не обижусь.

А вода журчит, журчит, будто ручеек в балке. С подволока звонкая капель, будто дождь прошел, скатывается она с росных деревьев. Видит Андрей во сне цветы полевые, Варю. Будто идет и идет с ней на восход солнца. Не забылось лицо Вари. А Софкино, как и сама Софка, куда-то провалилось. Эх, взяться бы за руки и через угорья убежать на Каму, а там ночь, там тихая ласка. Стонал, гремел цепью. А потом начал звучать в этой тьме Варин смех, который градинками звенел по цинковой крыше. Вскикивал, но короткая цепь тут же бросала на гнилую солому.

Пришел горбун и вдруг заговорил:

– Эх, мужики, сгинете вы тута. Одна надея на кузнеца Ермилу, он подбивает народ на бунт, чтобы шли выручать племянника полковника Селивона.

– А как народ? – напрягся Феодосий.

– Колготится. Это же заводские, а не ваши углежог. Эти могут заставить немца отпустить вас раньше. Не то пропадете. Были у немца сегодня посланцы от Ермилы, требовали вас, а нет, то обещали завод по бревнышку раскатать. Эти могут. При Пугаче все их деды были бунтарями. А кровя-то одни, бунтарские кровя.

– И за что он нас морит здесь голодом и тьмой? – выдохнул Андрей.

– Э, вас есть за что. Все, что было сказано Феодосием, шло в уши немцу. Вот и задумал проучить чуток говоруна. Вы еще мало здесь томитесь, на дворе лишь июль. Другие, тоже только за слова аль по наговору, так и умирали в этой тьме и вони.

Андрей заметался. В голове звон. Отец заговорил:

– Полковника Селивона здесь знает каждый старец. Богатырь был. Ростом в сажень, ручищи, как корни дуба, бородачи до пояса, плечищи, что твоя лежанка. Везли его в клетке мимо Оханска, по государевой дороге, богатырей совали в клетку железные прутья, кололи ножами, а он сидит себе и улыбается, боль свою врагам не показывает. Он был последним атаманом Пугачева. Погиб.

– Тятя, а ты веришь, что Пугачев был Петром Федоровичем? Веришь ли в то, что он жив и ходит средь народа?

– Нет. Пугачев был солдатом, мужиком, атаманом, но не царем. Народ хотел видеть в нем царя мужицкого, вот и набросил на себя личину царя.

– Так пошто же ты подбиваешь народ, что жив царь, что надо ждать бунта?

– А пото, что люду нужен посох, надея, чтобы дух его не охлял, душа зло копила.

– Тогда поделом мы здесь сидим.

Горбун принес еду, значит, прошел еще один день. Поставил чашки, подсвечивая фонарем, тихо заговорил:

– Немец дал указ убить вас. Убить и тела бросить в шахту. Заводские остановили завод. Затевают драчку. Но он им сказал, что вы убежали, потому не может выдать вас заводским. Даже обещал понатым, что приведет их сюда. Я должен прибрать гнилые кости, чуть угоить темницу. Такое впервые случается, когда управляющий хочет показать темницу. Знать, припекло. На завод пришел заказ – лить множество пушек, бунт тому помеха. Ловят Ермилу, но его прячет народ.

– Так, видно, богу угодно, – истово перекрестился Андрей.

– Цыц! Вогодух! «Богу угодно». Говорит человек, а ты молчи. Кто нас будет убивать?

– Как всегда – я.

– Ты? – удивился Феодосий. – Мал сокол, но тетерку бьет. Мы на цепях, чего же не убить. Счас аль чуток погодишь, пока мы помолимся?

– Я вас выведу из подземелья. Я дал богу обет, после того как меня заставили убить бабу, что больше никого не убью. Душу после того надорвал. А красивущая была, и не обсказать. Немец мне верит – больше, чем себе, знает – приказ выполняю. А бунт все же будет. На земле, ежели вы заметили, что капли нет, стоит страшная сушь. Будет большой мор, много будет бунтовать народ.

– Добре, значит, квашня забродит?

– Должно.

– А когда тесто пойдет через край?

– Со дня на день. Повертайтесь, цепи отомкну. Уходим тотчас же. Прознают, то сгинем. – Ты снова вернешься к немцу?

– Да, чтобыть вот таких бедолаг, как вы, спасать.

– Пошто же сразу не помог бежать?

– Такое дело, – замялся горбун. – Шибко уж красивущ Андрей-то. Зависть душу заволодела. Его может каждая полюбить, а меня кто? То-то, – с надрывом заговорил горбун. – Хотел видеть его смерть, на костях его постоять ногами, был, мол, красив, а вот я топчу твои кости. Бог сподобил меня, отвел лихую зависть, а потом, обет, данный богу, надо сполнять. Пошли, нечего тут сусоли разводить.

Снова вел их горбун по гулкому подземелью. Это были старые шахты, местами завалены, но горбун обходил завалы, дорогу знал. Вел долго. Впереди полумрак – значит, скоро выйдут из подземелья, а там солнце, там жизнь, а не этот мертвящий холод подземелья.

– Постоим, теперь нас никто не догонит, ежели кто и хватится. Пусть ваши глаза пообвыкнут, можете ослепнуть, – ровно говорил горбун. – Тяжек крест палача. Буду праведным. Пошли. Выход рядом.

Силовы осмотрелись, едва узнали друг друга: на плечах лохмотья, изопрели в сырости, глаза провалились в глазницы, косматы и серы.

Вышли наверх. Задохнулись от сухого воздуха, зажмурились от слепящего солнца, упали в травы, впились руками в землю, прослезались. Встали, низко поклонились горбуну, он махнул рукой, сказал:

– Не тому кланяетесь, не бог я и не поп, а убивец. Ходите! Пройдете вон тот лесок, выйдете на тропу, там есть пещера, чуток отдохните, вота вам по куску хлеба, а оттуда выходите на тракт государев и топайте домой. Да ночами старайтесь идти. Могут схватить казаки. Они счас

частенько бегают по дорогам, богатых грабят, бедных убивают. Это у них тожить в кровях. – Нырнул в подземелье, будто в преисподнюю ушел.

#### 4

Теплынь июльская разлилась над горами. Голубели они, вершины их сливались с небом. Жарища. Свернулись в трубочки листочки на деревьях, поникли травы, замолкли голоса птиц, даже ветер – и тот где-то спит в прохладном ущелье.

Идут Силоры, уже днем идут, близок свой дом, чего же таиться, смело идут, так же смело смотрят людям в глаза, не пытаясь прикрыть свою наготу. Хмурится Феодосий при виде чахлах хлебов. Трогает руками землю, натрескалась она, как обветренные губы. А это уже большая беда, свалит она мужиков, сомнет. Была у Феодосия надежда на хлеба – рухнула. Он верил, что выберемся из темницы. Почему? Такое трудно объяснить даже Феодосию. В силу, может быть, свою верил.

Сотни рек вбирает в себя Кама-река. Сотни. Сотни бед текут с ней рядом. Сотни. Жалок и беден пермяцкий народ. Жалок и скуден хлеб бедняка, но и тот у него отбирают. Власть, она все может. Может быть, поэтому и ленив и безлик пермяк – сколько ни майся, а толку мало, сколько ни ломи спину, а все голодно. Махнет рукой, плюнет на все и проплет жалкие гроши в грязном кабаке.

Есть небольшая разница среди этих мужиков: одни крепостные, другие казенные. Крепостные еще в большей неволе живут. Казенным вроде чуть легче. Казенные, или государевы, люди даже чуть гордятся этим, казенный может назвать себя «вольным». А что та воля? Те и другие живут на мякине, так же жгут уголь, пашут чужие земли, так же злы и лохматы. Воля у них не длиннее заячьего хвоста. Конечно, государев человек может зиму на печи пролежать, считая тараканов, но придет срок платить подать – плати. Нет – на лавку, под розги.

А розги на Руси – добрые розги, березовые розги, ладно пропарены да просолены... Скоро не обсмыкаются. Крепкие розги. И бог с ними, с розгами, – стерпел бы пермяк, если бы после розог долги прощались. Не прощаются долги, они переходят из поколения в поколение. За долги уводят последних коровенок, выгребают последние зерна пшеницы, ржи, а порой и портки снимают. Царь и портками не брезгует. А самых ярых задолженников – в Сибирь. Там одумается, оклемается, сбросит с себя пермяцкую лень. Но лень ли?..

Розги, розги. От них и злоба и позор в душе. Но иной строптивый мужичонка, которому все нипочем, вскинет бородавку и скажет:

– Тхе, розги! Эка невидаль! Русь на сто рядов бита и сечена, потому позора в том не вижу. Знамо, телу чуток больно да душе душно, а так жить можно. Человек, ить он ко всему привыкнет, дажить к петле, чуток побрыкался – и привыкнет. Ниче, привыкать надоть, но и забывать об энтот нельзя.

– Верна-а, – протянет мужичина, поднимаясь с лавки, подтягивая портки, – нелеченый конь язвами исходит, а мужик памятью да злобой. Позора, и правда, в энтот сече нету, пусть будет сумно тем, кто сек нас...

Вот и лечили свои души мужики случайными бунтами, драками, а после этого снова ложились на лавки. А знали, когда затевали бунт, что сечены будут. Но бунтовали.

А богатей, что со стороны наслаждался поркой, тоже скажет:

– Розги – дело полезительное, без них не устоять Расее! Не устоять! Потому порите, шибче порите, чтобы крепко стоял трон царский. Вон, ежели бабу не бьешь, то она думает, что не любишь. Бабу люби, как душу, но и трясси, как грушу. В пятницу бей, а в субботу в печи парь. Тогда она будет мила и покладиста. Так и мужика-нерадивца.

И всему виной подать. Она камнем висит на шее мужика. От нее кровавые мозоли на плечах, спина кровава, душа тоже кровью исходит. Есть с чего: царю курочку, а мужику – репу, и той не вдосталь.

Подать...

С болью в душе смотрел Феодосий на иссохшую землю, на седину в травах, на рыжие хлеба, что едва завязали колос и начали засыхать. Вон и сороки, вороны приутихли, не гомонят, не кричат, тоже млеют от жары, сидят на деревьях с широко раскрытыми клювами, ловят прохладу. Осыпается середь лета листва с деревьев. Горит земля. Падал Феодосий на эту землю, вгонял ногти в нее, чуть волком не выл. Проклинал все на свете. А что толку? Из проклятий дождь не родишь.

Горел костерок в ночи, гнал от себя черноту ночи. Подранком сидел у костра Феодосий. Андрей безмятежно спал. Слезы текли по щекам старика, прятались в густой бороде. Рыдал, молча рыдал, рыдал зло, от безвыходности рыдал. Жизнь свою распроклятушую оплакивал. Уронил на грудь бороду-лопату, тяжело задумался. Было с чего. Долгов стало еще больше. Деньги немец отобрал, едва жизни не лишил. Только сейчас Феодосий начал понимать, как рядом ходила смерть. Отвел горбун. Не слышал Феодосий шорохов ночи, даже робкого говорка ключика не слышал, весь ушел в себя, в свои тягостные думы. Сидел, похожий на камень-валун, глыбаст, неотесан. Костер чуть притушил звезды. За костром чьи-то шаги, тихие, вкрадчивые. Но Феодосий даже головы не повернул. Грабить, а что у них грабить?

Человек вырвался из темноты. На плечах армяк, в разбитых лаптях. Этот грабить не будет, даже если есть что.

– Мир и почтение кругу сему! О, старые знакомцы! – воскликнул бродяга.

– А, это ты, каторжник! – устало бросил Феодосий. – Мир, мир! Садись к огоньку, погрей душу.

– Не узнать вас, голы, безлошадны, аль беда приключилась?

– Ограбили нас начисто, за праведное слово ограбили. Феодосий коротко рассказал про ссору с приказчиком и что из этого вышло.

– Для того и рождается мужик, чтобы его кто-то грабил. На мужике держится земля, без него все бы с голодухи подохли.

– Как твои дела?

– Плохи. Женка умерла. Вот и иду один в Беловодье. Иду и пою, как птаха райская. Ежели все обойдется, то почну новую жисть. Ты тожить бросай эту землю-мачеху и дуй, не стой, по моим следам. Чудо у нас было недавно, сам видел из кустов: ехал царь по Казанскому тракту, а тут мужики задумали ему сунуть челобитную, а их в петли. Сам царь кричал, чтобы шибче пороли. Просветлил мозги ладно. Теперича не будут говорить, что царь ничего не ведает.

– Не то ты глаголешь, человек, – проснулся Андрей, – царь не станет бить мужиков. Это их били его приспешники. Боятся, что царь правду прознает.

– Эх, младен, эк тебя разносит, ты тожить веришь, что царь добр? Пустое. У царей не бывает доброты,

– Ты прав, ходячий человек; ежли бы каждого царь самолично выстегал, многие бы за ум взялись. А то ить выходит, что один за гуж, а другой палки в колеса ставит. А на сына махни рукой. Мал, а пытается судить о многом.

До полуночи шел неспешный разговор о жизни, о Беловодском царстве. Чуть вздремнули, а утром каторжник ушел на восток, Силовы пошагали на запад. Спешили домой. Миновали Строгановский завод и скоро вышли к берегу Камы. На угорье виднелся Оханск. На пароме купца Семишина перебрались на другой берег и снова пошли месить дорожную пыль разбитыми лаптями, скоро родная Осиновка.

Пришли в деревню под вечер, когда усталое солнце припало к угорьям, с пастбищ потянулись коровы, тоже усталые и тощие. На выпасах выгорела трава.

Феодосий первым зашел на подворье. Сел на бревно, задумался. Будто подкрадываясь, начали собираться мужики. Молча окружали Силовых. В глазах страшинка. Все были уверены, что эти двое погибли. И вот пришли. Уж не поблазнило ли? Нет. Феодосий косо посмотрел на мужиков, вскочил и заорал:

– Изменщики, супостаты! Распротак вашу мать! Мы гнили в штольне, а что вы исделали, чтобыть помочь нам? Чтоб вас разъязвило на сто рядов.

– Не ори! Меньше бы брякал языком, то такого бы не случилось, – вскинул бороденку Ефим Жданов – И не сидели мы руки сложа, ходили в губернию, но сами едва в кутузку не угодили. Никто и слушать нас не стал, назвали бунтарями и под арест. За серебряный отпустили нас казаки. Остатней деньги лишились. Пусть мы не вызволили, так бог вас вызволил. Чего еще надо-то?

– Горбун нас спас, будто и заводские шумели, а не бог.

– Знать, их бог вразумил, – не сдавался Ефим.

– Не шуми, Феодосий, жив – и ладно, остальное приложится.

– Меланья уже по вас молебен заказала. За сорокоуст последнее попу снесла.

– Дура! Чем жить будем, ить все сторело?

– Сосновая кора еще есть в лесу. Надо загодя припасать. Репа успела вырасти, пока она повыручает.

– Снова забунтуют мужики.

– Это уж как пить дать, забунтуют, чего же больше.

– Ладно, идите по домам, – бросил Феодосий. – Дайте в дом войти, – прогнал Феодосий друзей.

Феодосий вошел в дом. Сел в кутный угол, насупился. В доме грязно, душно, мухота – не продохнуть.

Вернулись Силовы с полей. Четыре сына обугленными пнями застыли перед отцом. Замерли невестки. Лишь быстроглазая Стешка, любимая дочь Феодосия, бросилась к отцу, повисла на шее, начала смачно целовать в губы, щеки, затараторила:

– Тятенька, миленький, возвратился. Мы думали, сгинули. Ой, как я рада, даже под сердцем захолонуло.

– Ладно, будя, цокотунья, – чуть подобрел Феодосий, но тут же насупился снова.

Стешка на год младше Андрея. Любил отец ее сурово, по-мужицки; то рукой тронет за плечо, то шутливо шлепнет по крутому заду, но в работе, тайком от других, давал ей послабление. Отдохни, мол, еще наработишься, бабья доля – стон и боли.

– Зовите мать, чего она там мешкает? Аль не знает, что мы пришли?

– Уж знает, но пошла по пути рубахи сполоснуть, потом все изошли. Духотища – страсть.

Максим, старший сын, надвинулся на отца, сейчас полыхнет грозой. Сорвется кабаном-секачом и сомнет отца. Сорвался, закричал:

– Пришли, с чем пришли? Надо было не языками молоть, а робить в три силы. Лучше бы совсем не приходили. Все нам Ефим рассказал. Нашелся мужицкий царь? Че принесли в кармане?

– Вшу на аркане. Вот хочу ее вытянуть из кармана, а она, сучья морда, упирается, – устало, будто слушая себя со стороны, говорил Феодосий. – Жирнушая, тварина, хошь сало с нее топи, хошь в шти бросай заместо свинятинки. Один нам бродяга сказывал, что, мол, в Даурии, есть такая страна в Расее, таких вшей нарошно разводят, а потом жарят и заместо семечек едят, только щелкоток стоит. Знать, лучше бы не приходили, а сгинули в темнице? Та-а-ак! – вдруг подпрыгнул со скамьи, со страшной силой ударил сына, его кулачина будто вмял грудь, далеко отбросил Максима, тот растянулся на дощатом полу. – Варнак, отца не почитать? Вот теперича ответствуй, пошто у тебя на пашнях рожь посохла, овощь сторела? Не слышу!

– Дэк ить засуха.

– Засуха от бога, а наша маета от кого?..

Меланья тихо вошла в избу. Хохотнула. Вожак вернулся в табун, требовал покорности. Кажется, покори, могли бы и смять. Все злы. Обняла за плечи мужа, тихо сказала:

– В силе еще, чертушка! Корись, Максим. Ишь же удумал, почал мать погонять, никому от тебя продыху не стало. Кланяйся в ноги мне и отцу! Ну! – Поцеловала Феодосия в губы.

– Ну будя лизаться, взяла барскую моду.

– Соскучилась. Андрейка, милый, обними мать-то, – схватила за плечи Андрея, зарылась лицом в скатанных кудряшках.

Поднялся с пола Максим, поклонился в ноги отцу, проворчал:

– Прости, Христа ради, тятенька!

– Ладно, кто наказан, тот прощен. Знай край да не падай.

Остальные сыновья молчали: Василий стоял у печи, ковырял в носу пальцем, Иван сидел на лавке, смотрел под ноги, чертил лаптем половицу, Алексей рассматривал свои огромные ручки.

Гроза прошла, внучата повисли на руках и плечах деда. Все сели к столу.

– Что будем делать? – спросил семью Феодосий. – Ты, Максим?

– Пойдем к богатеям сена косить. Все чуток заробим.

– Лады. Все идут на сена, а мы с Андреем дома, свои будем с бабами косить.

– Зачем надрываться? – насупленно заговорил Иван. – Розг так и так не миновать.

– Минуем, должны миновать. Хотя долг у нас растет, не копить же его до второго пришествия Христа. Меланья, вечерять, а потом мы с Андрюхой попаримся в печи, вошату сгоним да тела согреем.

– У нас одна репа.

– Заглавная мужицкая едома. Она богом дана мужику. Без нее – погибель.

Помолились на прокопченные иконы; хотя Феодосий в отходах почти не молился, но в семье за неверие ругал. Сам же говорил: может, я делаю промашку, что ругаюсь с богом, так пусть дети не идут по стопам своего заблудшего родителя.

После ужина Феодосий пошел осматривать подворье. Порядка здесь не было, в сараях прохудились крыши, покосились ворота, амбар пуст, дверь слетела с петли, и никто не поправит.

Раньше Силовы жили крепко: водились свиньи, куры, коровы, коней до пяти штук стояло в конюшне. Но скоро захирели, царь Николай повысил податную сумму, на заводах за уголь стали платить меньше, поля родили хуже. Вот все и пошло в разор. Сейчас у Силовых одна коровенка, которая кормит десяток внуков и внучек. По ложке молока достается каждому. Запах куриный давно выветрился. А свиньи – это уже совсем непозволительная роскошь.

– Каторга, кругом каторга, – прогудел Феодосий. – Прав тот беловедец-каторжник, что вся Русь каторга аль инвалидная команда, где нет головы и о людях некому заботиться.

## 5

Падают, падают чернильные ночи одна за другой на землю пермяцкую, на деревню Осиновку. Спит она тревожным сном, нудливым, клопиным сном. Кривой месяц немой вопросом завис в небе, смотрит на Осиновку. Дома черны, крыши прогнулись, как спины старых котов. Во всем нужда проглядывает. А горячий воздух, даже в ночь, катится и катится над хлебами, сушит и сушит и без того иссушенную землю. Жарко, душно. Душно земле, душно людям. В каждом доме затаился страх, перепуганным воробьем стучит под сердцем. Мечутся по темным углам изб тревожные думы, тягучие, как смола, челноками снуют в голове. Стонут во сне мужики и бабы, от безвыходности стонут. Тяжки их кудлатые головы, нет им покоя.

Живет покой разве что в домах Трефила Зубина, Фомы Мякинина. Вон они гордо вскинули тесовые крыши над деревней, над соломенными кровлишками. Там достаток. Там радость и жизнь.

Трефил Зубин, открыв рот, раздувая пышные усы, густо храпит, натянув на себя белоснежное рядно. Он только что прогнал от себя блудницу Дуську. Вдова! Чего с ней вожжаться! Для дома не гожа, а вот для баловства – да. При зубинском достатке можно и барскую бабу взять, чтобы манерничать могла, как говорил сам Зубин, для потехи приседать и ласково говорить на французском языке, пусть непонятно, так то и лучше. Откуда у Дуськи ласковость взять? Баба, черная баба.

Прав Зубин. Дуська – черная баба, как все бабы-пермячки. Да и откуда им стать белыми? Все они забиты, затерты, перегружены заботой и работой. Нагрузили на них, бесправных, тысячи дел, так что и продыху нет.

Месяц заглянул в окно. Уперся неярким лучом в крашенный пол, тронул изразцовую печь, горницу осветил, там спали суровые и жадные до работы сыновья Зубина. Забежал в Варькину боковушку, тронул ее мягкую постель, но пуста она была. Выпорхнула в окна зорянка. Убежала, счастливая, к Андрею. Тронулась умом девка, связалась с лапотником.

Не обошел месяц и дом Силовых. Боже, что думает эта девица? Здесь все спали вповалку и на полу. Кровати резные давно забрала подать. Перепутаны рваные рядна, зарылись бороды в солому. Тесно и дышать нечем. Но каждая баба уткнулась носом в бок своего супруга. Так можно и перепутать, в грех впасть. Зубин часто посмеивался над бедняками, говорил: «И как вы только в такой теснотище своих баб находите, как детей рожаете?» – «От бога, от бога наши дети зачаты», – тербя бородку, отвечал Ефим. «От бога только одна Дева Мария зачала, да и то есть сказ, что будто к ней мимоходом забежал архангел Гавриил. Может, не от бога... Ха-ха-ха!»

Спертый воздух, зубовный скрежет. Куда ни положит свою голову Феодосий – все жестко. Подушек нет: царь и их прибрал. Не то явь, не то сон, перед глазами незнакомая земля, тайга, море-океан. Видел людей вольных, дух вольный обонял. И брел, и брел по той земле, трогал руками сочные травы, хлеба, не мог нарадоваться. Радовался тихому миру, свободе мужицкой. Прекрасная земля, чудное царство... И вдруг он снова видел каторжника, слышал его наставления: «Пройдешь Сибирь, переплывешь через Байкал-море, потом уходи на реку Шилку, она приведет тебя к реке Амури. Стан свой гоноши на Усть-Стрелке. Там стоит казачий пост. Но эти люди до денег жадны. Потому их завсегда можно купить, и пропустят они ваши лодки хошь на край света. За копейку забайкальский казак и в церкви чижолый дух пустит. Только плати... Так и убежите вы в Беловодье. А уж как придете в Беловодье, то там мир и райское песнопение...»

Земля обетованная! Лесов – глазом не окинуть. Поля обрываются у берега моря. Травы в рост, хлеба, где каждый колос в четверть, земля будто пух, ноги тонут в ней. Все вокруг емко, сочно, все близко сердцу мужицкому. Земли много, паши – не перепахать.

Плещутся волны за окнами, запах неведомого моря щекошет ноздри, бьет соленая волна в берег, от крутого ветра дребезжит стекло в раме. Дзенькает. Добрались до мужицкого царства! Хорошо-то как! Пусть ярится море, на то оно и море, чтобы яриться, а потом ласково шелестеть волной на берегу. Пусть! Каждый волен показать свою силу-силушку!..

## 6

Заполюшный крик и сильный стук в переплет рамы разбудил Феодосия. Поднял Силовых на ноги. Десятский орал что есть мочи:

– Эй, Силковы, поднимайтесь! Урядник кличет свой покос косить!



– Вашу бабушку! Такой сон спугнули! Господи, эко хороша там земля-то! Глаз радует, а уж душу – и не обсказать! Все млеет в тебе, будто впервой бабу полюбил. Сволочи! Не дали во сне пожить там.

И сразу навалилась вязкая лень, скука, безразличие. Отрешенно посмотрел на своих, бросил:

– Вставайте!

Меланья уже хлопотала у печи.

– Вот на кого напасти нет, так это на нашего урядника. Не успели дух перевести, тут же понадобились ему робить. Свои травы сохнут на корню, а тут за спаси Христос чужие коси. Ему что – оттяпал у нас заливные луга, и душа не болит, а тут... – Встал, отряхнул с холщовых штанов солому, подошел к рукомойнику, плеснул в бороду пригоршню воды, вытерся рукавом. Сел к столу. Репа была напарена еще с вечера, чуть разогрела ее Меланья – и на стол.

– Дал бы нам бог вместо репы блины! – со вздохом бросил Максим.

– Замолчь, щанок, ишь растявкалися! – посуровел Феодосий – Бога не замай, еще мал. Не будь его, совсем бы зачахли.

Андрей усмехнулся. Непонятный человек – отец. При нем клянет бога на все корки, при других сынах за бога горой. В подземелье тоже бога, кроме как матом, и не поминал.

– Квас и вода – богатырская еда, – продолжал Феодосий.

– Ага, однако бог судит и делит люд не по-божески. У божьего человека – попа от сви-нячьего визга в ушах звенит, а у нас тишь. У него и свиньи лучше едят, чем мы.

– Сказано молчать в застолье!

Солнце еще где-то блуждало у горизонта, будто не могло найти себе окна, чтобы выйти в чистое небо, а мужики уже были на ногах. Хоть и говорил Феодосий: мол, кто встает с росами, те не будут босыми, – присказка не вязалась с жизнью. Реденький туман курился над рекой Осиновкой. Жидкая роса упала на травы. Конечно, легче косить даже по такой росе, но надолго ли она? Косить придется весь день, смахивая пот с лица. Правда, в ночь травы будто приободрились, повеселели, приподнялись, расправились. В день снова поникнут.

Первыми из косарей вышли Силовы, это Андрей и Феодосий. Братья ушли косить богачам. Феодосий оглянулся на ворота: а, черт с ними, за воротами не спрячешь свою нищету. Пусть уж все видят, что мы захирели.

Вышел на урядницкий покос и Иван Воров с сыном Степаном. Человек «довякий», так говорил об Иване Феодосий. На отходах он чаще молчит, грустит по своей хохотушке и красавице Харитинье. Боится, как бы не соблазнили ее богатеи, которые, как мухи, к ней тянутся. А Харитинья – баба-заводила: если кто из баб повесил нос, бросит терпкое слово, подбодрит – и, смотришь, ожила грустяга.

Сам Иван Воров, когда дома, не уступает хозяйке: весельчак, хват. Выпить не дурак, но только на чужое, говорит, мол, со своих меня рвет, голова болит, спасу нету, а вот на дармовщину – никакой болести. «Такое уж у меня нутро распаскудное...»

Иван Воров редко чешет волосы и бороду, разве что по престольным праздникам. Борода – ком шерсти. Волосы на голове – суслон неугоенный. Светловолос, рыжебород. Двух-мастный. О таких говорят, что они счастливые. Нос крючковат, лицо сухое. Походка веселая и упругая. Катится по земле, будто колобок. Часто смешит мужиков своими комедиями. Только вышел, глаз не продрал, а тут же кричат:

– Иване, а Иване, а ну, поломай комедь! – Кажется, Феодосий: знать, прошла обида на мужиков.

– Счас... Вот все сойдутся, так и поломаю.

Начали подходить мужики, Иван начал свои комедии.

Вот поп Викентий, он крадется вдоль забора, прелюбодей, от Параськи бежит. А тут попадья затаилась у калитки и ждет с поленом в руке. Все это в лицах, понятно каждому. Попадья схватила попу за бороду и давай волтузить поленом по спине.

А вот урядник: расправил бороду-мочалку, пузо вперед, ноги вкривь, осанка по чину. Заорал: «Подайте царю на пропитание! Живо, нехристи вы такие! Лопотину, холст на ярманку! Деньги царю!» – «Как же, ваше благородие, ить у меня последние портки, их тожить на ярманку? Боле ничего нетути. Ить грешно голяком-то ходить. Поп Викентий предаст анафеме. А потом бабы узрят мою красотищу, ить не отбиться» – «Розг захотел, собачья твоя душа!» – орал урядник. Ивану Ворову ничего не оставалось, как снять штаны под смех мужиков и визг баб и бросить их воображаемому уряднику. «Пусть их царь-батюшка носить. Ниче, еще крепкие, чуток зад протерт, так царица моет и подлатать...»

Вот Трефил Зубин считает деньги, сильно слюнявит пальцы, воровато оглядывается на окно.

Вот Фома Мякинин: ведет подгулявшего золотаря, позволяет лапать и целовать свою бабу Василису, потом бьет колуном по голове, жадно выгребает золото из карманов, несет мертвеца к речке.

Ивана Ворова ненавидели богачи за представления. Поп Викентий дважды отлучал от церкви за богохульство, предавал анафеме. Но Иван хоть бы что. Любят его мужики – знать, в дело его комедии. Он пошел еще дальше: купил сыну Степану гармонику и заставил учиться играть, чтобы давать представления под музыку. Грех великий!..

Сын и отец очень похожи друг на друга, только бороды разные: у Степана пушок по лицу, у отца кочка болотная.

– Эй, Феодосий, чего это ты сегодня, как конь усталый, спотыкаешься? – скалил широкие зубы Иван.

– То и спотыкаюсь, что иду робить на вражину.

– Э, поробим, потом пивка попьем, чебачком закусим, люблю дармовое пиво.

– А хрен с квасом не любишь?

– Приелся. Чебачок, пивко, водочка – откуда и сила возьмется.

Хлопнул калиткой Ефим Жданов, закатил глаза под лоб, гнусаво запел:

– Ненавидящих и обидящих прости, боже милостливый... – Подоил козью бородку. Поправил на плечах холщовую рубаху, поддернул штаны, которые плохо держались на тощей заднице.

– Эй, Ефиме, штаны не потеряй! – хохотал Иван Воров.

Ефим беден, как и большинство осиновцев: коровенка, кляча-кобылица, все они хедуши, как и сам хозяин.

– Твою бабушку, твою мать, чтоб вас всех громом расколотило! Изгои! Тати! Отберут у Ефима последнюю коровенку, еще для острастки высекут розгами! – заорал Воров, будто его шершень ужалил. Крик свой оборвал отборной матерщиной.

Ефим поперхнулся. Ведь только вчера он читал Ивану Святое Писание, там ясно сказано, что ждет грешника на том свете. Ефим дал обет, что костями ляжет, но спасет душу заблудшего Ивана, вернет его в лоно божье.

– Окстись, Иване, ить смрадно в аду-то. Говорю тебе, а ты все свое тянешь, держи тело в посте, а беса от ся гони молитвой.

– Держу. Додержался, что вчера выгнала Параська, слаб стал, мало духом, так и телом. Без блудных баб я никто. А с такой едомы к бабам не ходи, тем паче к Любке, враз в гроб загонит такая кобылица.

– Дурак ты, Иване, заглавная жисть на том свете. Там рай...

– Пошел ты в ж... со своим раем, дай здесь пожить в сладость.

– Срамник, нечестивец, спелись с Феодосием, предадим анафеме, в кострище бросим.

– А я на вашу анафему чихать хотел! Эх, Ефим, Ефим, ну какая жисть без баб? А? Ты ить своих сопляков не пальцем же исделал?

– Но ить то с законной подружней, а ты с блудницами.

– А что же делать вдовам и невенчанным? Ась? Не слышу, громче скажи?

– Дэк ить...

– Вот те и дэк ить. Мужик на то и рожден, чтобыть всех жалеть. Знамо, свою больше, чужих чуток меньше.

– Бога побойся, сына посрамись!

– Хэ, сына, он тоже уже бывал у Любки, пришел домой, ажио под глазами сине.

– Тятя, ну...

– Ладно, нишкни, дело земное. Женишься – и не будешь знать, с какого конца бабу распочать. Вот на то и создал бог вдовушек-то.

– Подумай, Иване, о старости, ить она не за горами, а за плечами.

– О старости думай, а о бабах не забывай. Бог тоже был хорош. Когда явился на землю в образе Христа, блудил ладно. Магдалину на руках носил. Богородица тоже хороша, сама в девках зачала, да еще непорочная. А мы ее во святыне. От Святого Духа... Ну потеха!

– Зрю, гореть тебе в геенне огненной! Будешь лизать блудливым языком сковороды. Изыди, сатано!

– Ладно, Иване, не кошунствуй! Сегодня во мне столько зла, что чую – натворю беды, могу дать тебе по сопатке! – сорвался ни с чего Феодосий – Я от бога не отрекся, просто мы с ним поссорились. Одно знаю, что не сидеть мне в раю с царями, не сдюжат они мужицкого пота. Однако не лайся!

– Не лаюсь, а просто говорю. Ефим сделал из сына попа, из Андрея – второго, оба боятся баб как огня. Боятся, а сами нет-нет да под подол заглянут...

Митяй прервал ссору. Мужики увидели Митяя, закричали:

– Митяй, скорей сюда!

– Вот идет, не идет, а пишет.

Косари подождали Митяя. Митяй шел, будто подкрадывался. Ростом в сажень, но тонкущий, поэтому гнулся, горбился, ноги тоже подгибались в коленях, словно им тяжело было нести Митяя.

Но Митяем Плетеневым гордилась вся Осиновка. Не в каждой деревне был такой Митяй. Сельчане помнили все, что случилось за эти годы с Митяем. «А помнишь, на Ивана Купалу Митяя бодал зубинский бугай?» – «Помню, тогда еще дочка Фомы Мякинина утонула». – «На Мануила его девки крапивою пострекали, потому как подглядывал за их купанием».

По Митяю равняли свой достаток, свои неудачи, просто людей: «Ты идешь, как Митяй»; «Ты смешной, как Митяй»; «Ты жрешь за троих, как Митяй»; «Не везет, как Митяю»; «Ты беден, как Митяй».

Пришлого человека узнать было просто, стоило спросить его о Митяе: если не знает, значит – дальний. А Митяя знали и в волости и по обоим берегам Камы. Его любили во многих деревнях – в Больших и Малых Гальянах, Мурашах, Комарах, Лаптях.

– Откель, мужик?

– Из Заполя.

– Знаешь ли Митяя?

– Какого Митяя?

– Э, ну-ка слазь, бегляк ты, может, каторжный, хлобыстнешь кистенем по затылку и был таков. Слазь, слазь, не наш.

Потом добавилось еще одно сравнение: «Ты умер, как Митяй».

Однажды вышли на медвежью охоту Феодосий, Иван Воров, Ефим Пятышин да Митяй. Обложили зверя. В руках рогаины, за поясами топоры. Забили елкой пролаз и давай шуро-

вать. Медведь проснулся, завозился, а потом с ревом выпихнул елку и бросился вон. Но на пути сбил Митяя, как трухлявый пенёк. Митяй сломался вдвое и рухнул на снег. Упал и ноги вытянул. Умер. Постояли мужики, почесали парные затылки, охотники-то они были плевые, начали гоношить носилки. Какая жалость, не уберегли деревенскую гордость. Заест их Марфа, проклянут сельчане. Но делать нечего, надо выносить усопшего. А далеко, а снег выше колен. Эко не вовремя испустил дух, да и не у места.

– Сердце оказалось хлипким. Медведь только плечом тронул, а он... Быдто букашка. М-да! – жалел Иван Митяя.

– Не отпускала его Марфа-то, будто ее сердце чуяло беду. Будет нам!..

Сгоношили носилки, несут Митяя, тонут в снегу, взмокли. Хотя и худ Митяй, а оказался тяжелым непомерно. Внесли в деревню. Давайте, мол, передохнем перед Марфиной бурей-то да погорюем чуток. А тут Митяй открыл глаза и говорит:

– Вот что, братия, умер я – это точно, но прошу вас, не бросайте Марфу, пусть ее Иван второй женой назовет...

Мужики даже присели, глаза навьют, а Митяй ровно продолжает:

– Мы из чистых пермяков, у нас можно две женки иметь. Марфу Иван знает. Правда, его Харитинья – красавица, а моя – страхолюдина, но ниче. Харитинья хрупка, а моя одна плуг потянет. Сдружатся.

Мужики чуть подались от Митяя.

– Похороните меня на берегу речки, потому как любил я за девками подглядывать. Хороши они, че говорить. Хочу и с того света их прелестность видеть. Хошь и стрекали они меня крапивой, но я не в обиде. На Марфу я тоже не в обиде, но рад, что хоть на том свете отдохну в тиши и спокойствии. Марфа ить кобылица, замурыжила меня. Ночами маяла, днями покоя не было. Зверь, а не баба – по бабской части. Медведь супротив нее ангелочком покажется.

Первым бросился в бега Ефим, только лапти замелькали. За ним Иван: правда, перед тем как дать тягу, он спросил Митяя:

– А рази мертвые говорят?

– Говорят, потому как я, Митяй, вона вижу ангелов, архангелов, а дьявол манит своей лапищей меня в ад. Не хочу в ад, жарко там, поди. Так, Иване, ты уж сделай все честь по чести.

Но Иван уже не слышал Митяя. И верно, от Митяя всего можно ожидать. Остался при Митяе Феодосий. Наклонился и говорит:

– Как же понимать тебя, Митяй? Мертвый и говоришь?

– А как хошь, так и понимай.

– М-да! Ну и Митяй. Вставай-ка да пошли домой, хватит тебе прикидываться-то. Ить мы рады, что ты жив. Жив ты, Митяй. Ну вставай же.

– Ежели просишь, могу и встать. Жалко мне что-то стало Марфу. Ить слезой изойдет. Любит она меня страсть как!

Марфа любила Митяя. Но женился не он, а она его на себе женила. Поймала в переулке, сребла в беремья и сказала:

– Завтра будем венчаться.

– Это для ча же? – удивился Митяй.

– Будешь моим мужем.

– Не хочу.

– Тогда я тебе все косточки переломаяю и собакам брошу. Внял? Так что не шуми, руками не маши, завтра поведешь меня под венец.

Пришли в церковь, все как надо, на невесте фата. Поп обвел их вокруг аналоя и спрашивает: «По любви ли берешь в жены рабу божию Марфу?» – «А ты попробуй ее не взять, живо

хребет-то сломает. Сказала – надо жениться, вот и женюсь. Венчай, батюшка, чего уж там, баба при силе, а я хлипок, все где заступится».

Над Митяем еще ко всему будто божье проклятие висело: если потравят кони овес, то обязательно у Митяя, если пооборвут в саду яблоки, то тоже у Митяя...

Митяй еще гордился очками немецкой работы, которые сидели на его куличьем носу. Марфа сама выписала из Германии. Но очки он носит не как все люди: один окуляр висит влево, второй вправо или на самом кончике носа.

Митяй с широкой улыбкой на тонких губах подошел к покосчикам.

– Митяй, как Марфа? – подмигнул Иван.

– Марфе че, заездила, едва ноги волоку. Все одно, грит, на урядничком покосе будешь робить, сила, мол, там не для ча, хоть разок меня ублажишь.

– Кормила-то чем? – жалостливо спросил Иван.

– Репой. Сокрушалась, что сала нету, а без сала кака сила? Вся мужицкая сила в сала.

– Оно так, – сдерживая смех, продолжил Иван. – С травы и сила травная. Сало есть сало. Сегодня била аль нет?

– Нет, жалела, дажить волосы расчесала. Ить она от любви меня бьет. Но только большее ее кулакам, чем моему телу.

Хохот, как обвал с гор, сыпанул на восходе солнца, из-за заборов потянулись бабские головы: любопытно, с чего мужики ржут, как кони? А, Митяй! Все понятно, можно додаивать свою буренку.

Смех смехом, а на душе тягостно, душу точат черви.

– М-да, смеемся, плакать бы не пришлось, голодуха висит над нами, как небо, – проворчал Феодосий. Его сегодня Митяево ребячество не развеселило.

– Дела плохи, последние штаны сымут, голяком будем ходить, фиговым листом грех свой прикроем. Только игде достать те листы? – посерьезнел и Иван. – Растут только в жарких странах, у нас нетути.

– Боже, помилуй и отпусти грехи Феодосию и Ивану! – закатил серые глаза Ефим.

– Хватит, не юродствуй, надоело! – Крутнул на плече косу Феодосий, еще сильнее насупил брови-лишайники. По лицу сполохи, кипень в сердце. Быть буре. Из рос собирается она, сколготится в тучи, не унять грозы.

Урядник ждал мужиков на покосе, хмуро бросил:

– Вона уже солнышко всходит, а вы все прохлаждаетесь! Ясно, не свой покос, потому тянетесь. Чтобы за день весь луг скосили! – Вскочил на коня, хотел уехать.

– Не понятствено, мы что, твои работники аль полюбовные косари? – вспыхнул Феодосий. – Рази мы обязаны тебе косить?

– Обязаны ли? Вот об этом спросите себя, – усмехнулся урядник.

– Ах так, тогда мы не обязаны тебе косить! А раз не обязаны, то и не будем! – загремел Феодосий.

– Терпящие – в рай, а нетерпящие – в ад, – закатил глаза Ефим.

– Цыц! Не будем! Хватит! Сел нам на шею и погоняешь!

Над заливыми лугами туман, с голубинкой, не сочный, какой-то квелый. Но травы здесь сочные, так и просятся на косу. Ждут косарей. Но косари стоят у кромки луга и молчат. Эх, будь это свое, тогда бы зазвенели косы с радостью, места бы не хватило широкому размаху! Молчит Феодосий. А Митяй, он везде Митяй, бросил свой латаный-перелатаный армячишко, упал на него и тут же захрапел.

– Начинайте с богом косить! – тихо проговорил урядник.

– Чевой-то не хочется, ваше скабродие! Вон свои травы на корню сохнут, а ваши еще могут подождать, – в раздумье сказал Феодосий.

– Это, эт что? Бунт?

– Какой там бунт, просто надоело, господин хороший, задарма травы косить. Неделю тут провошкаемся, а у других можно заработать гривну серебром. Деньга, надо думать, немалая. Платите, тогда и почнем. Вы не по закону творите!

У мужиков глаза навекат, мечется в них страх. Такое сказать уряднику! Царю и богу на этой земле!

– Ты что сказал, сермяжя твоя душа? Повтори!

– Могу и повторить, ваше скабродие, что за спаси Христос косить не будем!

– Шутит он. Чего уж там, покосим, – снял с плеча косу Ефим.

– Знамо, покосим, а его благородие снова даст нам слабинку, – поддержали Ефима мужики, но не дружно.

– Каждый год косим, уже привыкшие.

– А нонче не будем! – гаркнул Феодосий. – Хватит задурняк горб ломить. Сломан и без того. Пошли по домам, свои покосы ждут.

Большая половина мужиков встала на сторону Феодосия. Одни кричали:

– Покосим, чего уж там, ваше благородие!

– Не будем косить, а кто почнет, тому головы косами снесем!

Проснулся от крика Митяй, вскочил и закричал:

– Не будем! Пора и честь знать!

– Ну, ежели Митяй сказал, что не будем, тогда пошли, мужики! Все! Звиняйте, ваше скабродие!

– Ах так! Ну погодите, вы увидите у меня кузькину мать! – взъярился урядник, хлестнул плетью коня и ускакал в деревню.

– Ну, теперича держитесь, мужики, съест нас урядник.

– Пошли на свои покосы. От всех чертей не открестисься.

Слух, что осиновские мужики отказались работать на урядника, быстро расплозся по деревням. Урядник, мужики звали его уважительно Фролыч, бросился в одну деревню, другую, но везде получал отказ. Не прямо в лоб, а с мужицкой хитринкой: «Оно бы и надо покосить, люди свои, да еще наши травы не тронуты. Ить тут такое дело-то, спина третьеводни разболелась и досе не отпускает. Да и денег на подать надо заработать. А намердн баба сказала, что рожать будет, не бросишь. Жду, кто будет – бычок аль телочка. Оно конечно, косить бы надо, перестоят травы, сено будет не так духовитое. Свои уже переставляют. Может, чайку изопьете, ваше благородие? Не побрезгуйте. Божий у нас чай-то».

Это уже был молчаливый бунт. Урядник метался, кипел злобой, но ничего не мог поделать с мужиками. Пришлось нанимать работников со стороны. Грозил: «Ну, погоди, Силов. Не я буду, если не упеку тебя в Сибирь!...»

## 7

А солнце палило и палило иссушенную землю. В небе ни облачка. Жаром курились соломенные крыши, одна искра – и сгорит деревня. По улочкам бродили кудлатые собаки, похожие на осиновских мужиков: взлохмаченностью, независимостью, валкой походкой, собачьим достоинством, а уж злобой – это точно. А терпеливы были те собаки, дальше некуда: бей в три палки – не заскулит, только будет стараться броситься обидчику на грудь, чтобы хрип перехватить. Собак осиновских, как и мужиков, не тронь – все за одного и один за всех.

Не помнят экзекуторы, чтобы под розгами хоть один осиновец застонал и пощады запросил, только покряхтывает, бывало, будто в печи парится. Недаром говорили мужики соседних деревень, мол, один осиновец трех сосновцев стоит...

Но все же собакам жилось лучше и легче, чем мужикам: хоть они и голоднющие бродили по деревне, могли целый день валяться в пыли, ловить блох, в речке искупаться, когда от жары

невозмогу. Мужик же и этого лишен. И не понять было, для чего держат мужики этих собак. На охоту они уже давно не ходят, сторожить нечего. Может быть, лишний раз облают урядника, помещика – и то радость. Самим-то мужикам «лаять» опасно, а собакам можно, на то они и собаки...

Силовы, Ворovy, Ждановы с давних времен косили травы сообща, Митяй тоже с ними, не оставишь, а потом, отец, умирая, просил Феодосия не оставлять сына одного. Да и покос у них общий, не стали делиться. Чего уж там, у всех по лошаденке да коровенке. А у Силовых и лошади не осталось. Лишнее сено, когда были хорошие травы, продавали, а деньги делили честно.

Косари гребли сено и метали стога. Все бабы на гребни, только Марфа-богатырша подает сено на стога. Навильник – и нет полкопны. Митяй в гребщиках. Хотя у Митяя силы тоже не занимать, несмотря на его худобу, но Марфа не пускала его на тяжелую работу, говорила: «Надорвется, тогда что мне делать без Митяя?» А два года назад, когда все село секли за недоимки, то вместо Митяя легла на лавку Марфа и сказала: «За Митяя, он у меня хлипкий». Экзекуторы старались во всю силу, ладно расписали широченный зад Марфы. Марфа поднялась с лавки, одернула сарафан, бросила: «За-ради любви терплю такие муки, Митяй. Слышишь?»

Митяй плакал, обнимал и целовал Марфу, так в обнимку и ушли домой.

Работа шла дружно, споро. Стога росли, как на опаре. Это вам не вятчи, когда семеро на возу, а один внизу и кричат еще – не заваливай!

Время к полудню. Травная сила на исходе, пора обедать.

– Бабы, кончай грести, заваривай хлебово! – крикнул Феодосий.

Воткнули бабы черенки граблей в землю и пошли к табору, девки пусть гребут. Их в этой ватаге за два десятка. Парни почти все ушли на заработки. Бабы на скорую руку заварили борщ из лебеды в огромном котле, опустили кусочек сала, все мясным будет пахнуть, нарезали черного, как земля, хлеба, тоже больше, чем наполовину с травой и корой сосновой, стали звать мужиков.

– Надо бы еще один стожок подметать, Феодосий, ить число-то у нас бесовское, тринадцать, – боязливо заговорил Ефим.

– Пустое, небо синь синью, дождя не жди, а чего еще нам бояться?

– Всякое может быть.

– Не каркай! Пошли полдничать. Будя себя стращать.

Пермяки – народ суеверный: кошка ли дорогу перебежит, собака ли завоет, курица ли петухом запоеет – жди беды. А уж числа тринадцать боялись – чертова дюжина.

Вон и Андрей пересчитал стога, подошел к отцу и сказал:

– Тятя, а ить стогов-то тринадцать. Может, еще один распочать? Не надо беса дразнить.

– Ничего, сынок, тринадцать ли, двенадцать ли, какое дело. Пошли есть.

Андрей замолчал, спорить с отцом – тоже грех немалый. Дометать бы к ночи стога и убежать к Варьке. Отец упреждал сына: мол, орешек не по зубам. Зубин не отдаст Варьку за тя.

Зубин наметил в зятя Лариона Мякинина. Однолетки они с Андреем. Но таких, как он, девки не любят: руки почти до колен, рыжий, сутулый, челюсть тяжелая, лоб покатый, глаза маленькие, как у кабана, нос по-утиному плоский. Но Зубин подбадривал Лариона: мол, мужику красота не надобна, были бы сила и деньги. Бабы таких любят. А деньги у Мякининых водились, кубышки с золотом далеко были спрятаны. На дворе три десятка коней, столько же коров, сотня десятин пахотной земли да покосов: Всего не пересчитаешь в чужом кармане, однако можно было прикинуть, как туго набита мошна у Фомы Мякинина.

Ларион чуждался Варьки. Возиться с девкой? На кой ляд? Бегал к приветливым лихоимцам Параське и Любке. Обе любили Лариона – сильного и жадного в любви. Но больше нравилось ему ходить к Любке, когда дома не было урядника. Любка – красавица, первая кра-



савица на деревне. Она говорила Лариону: «Чем страшней мужик, тем больше в нем силы, потому как не с кем ему ее истратить...»

Ларион чувствовал правоту Любкиных слов. Сам страшен – избегал чужой красоты. Андрея люто ненавидел. Но ненависть свою глубоко прятал. Понимал мужик, что женись он на Варьке, да при их достатке, не удержат Варьку в узде, заблудит, как Любка. И нашел в себе силы, чтобы сказать Варе: «Ты, девка, меня не бойсь. Не женюсь я на тебе, шибко красивущая. Не полюбишь, как жить будем?» Варя ответила: «Ежли поженят силой нас, то утоплюсь, а с таким страхолюдом жить не буду. На улице с тобой не покажусь» – «Спасибо за правду, живи, милуйся с этим лапотником. Мне есть кого любить, и есть кто любит меня. Прощевай!»

Так и благословил Ларион Варьку на добрую, тихую любовь. Верить или не верить Лариону?

Об этом думали Варя и Андрей. Ведь согласись он жениться на Варьке – женится. Зубин прикажет Варе быть женой Лариона, и никто его не отговорит.

Стоит Андрей посредине покоса, а перед глазами Варя. Вот берет он ее на руки и несет в степь. Там он под вскрики ночи и шепот трав будет с ней до зари миловаться. От этого под сердцем тепло, на душе радостно.

Варя рослая, гибкая, как лозинка прибрежная, а глазищи будто у дикой оленухи, голубее неба, чище уральских озер. Молчаливый смех в тех глазах затаился. А засмеется, будто золото сыпанет по избе. Собирай, не ленись, всем хватит. Песню запоет – вся деревня слушает. А когда начнет миловаться и целовать – голова кругом, будто жбан медовухи выпил. Упадет на руки, пойманным стрепетом забьется. Губы – пьявки. Руки – змеи. Вся на виду, вся в горении. Но не смеет Андрей впасть в грех. Только после венца...

Бывает, что и поддастся порыву Вари – забыв бога, все на свете, зароется в ее душистые волосы, поцелуями защекочет шею. Трогает руками сильное тело, трепетное, податливое. Бесовское томление и духота степная. Но стоит ему вспомнить Софкину любовь, как он тут же приходит в себя. Опустит Варю в травы, притихнет, замкнется. Обидно Варе, что недоластал, недомилдовал. Бросит злое слово:

– Все знают, как ты соблазнил Софку. Меня тоже хочешь соблазнить.

– Не права, Варя, сама чуть до греха не довела.

– Иди к Софке, она ждет тебя, глазищами рыскает, как голодная волчица. Или сбегай к девкам Мякининым, тоже с тебя глаз не спускают.

Девки у Мякинина – перестарки. Не берут их парни, на Лариона похожи. Кто такую возьмет? Находились женихи, ради приданого готовы были взять, но Фома начал нос воротить, мол, рвань, лапотники, а потому не пара. Гнал в три шеи. Теперь бы рад выдать своих блудниц за любого, но уже никто не берет.

Пойдут, бывало, в церковь Мякинины, впереди Фома Сергеич кривонного семенит, за ним дородная Василиса, следом девки; Ларион не ходил с семьей. Девки нарядные, нахально крутят ягодицами, совращают мужиков. Похохатывают мужики, крикают, судят, какая из них норовиста в любви, которая – холодна. Эти девки не натружают работой свои руки, вяжут кружева, шьют, бездельничают, как сказали бы в деревне. А между делом одного за другим приносят в подолах младенцев. Все от прохожих молодцов. Рычит и смертным боем бьет Фома своих дочерей, но унять блуд не может.

Андрей пристыженно сожмется в травах, уставит большие глаза в даль ночи и надолго замолчит. Неправда его больно ранит. Варя протянет руку и начнет тихо наматывать его кудряшки на палец. Извиняется за сказанное. Примиренные, задремлют под скрип цикад, крик ночных птиц, с росой проснутся...

У пермяков такое допустимо, когда девка может вернуться на рассвете, лишь бы работала во всю силу, не дремала бы на покосе. А если приспит мальчика от безвестного молодца, то все

это богово, все от бога. Поэтому Варя могла свободно встречаться с Андреем, пока об этом Зубин не узнал.

Согласился с отцом Андрей, пусть будет по его слову, лишь бы не нудиться еще одну ночь без Вари. Готов работать и без обеда.

Все сошлись к табору. Встали на молитву, повернув лица на восход солнца.

– Богородица дева, радуйся, благодатная Мария... – запричитал Ефим, остальные ему вторили.

Молились с усердием. Иван Воров назло Ефиму крестился лениво. После молитвы Ефим заворчал: – Завтра же скажу попу, пусть снова наложит на тебя епитимью.

– Десятый раз пужаешь меня попом. Так знай, что сегодня поп пребывает в болести, ему Ларька хребет колом перебил. Параську не поделили. Кровями мочится, ноги отнялись. Отходил старый кобель по бабам. Видел я, как он блюдет тайну исповеди, сам шепчет молитву, рука же под подол лезет.

Хмурится Феодосий, грозился он выгнать Параську из деревни; хоть он не староста и не поп, но по его слову выгнали бы! Но куда? Ей тоже, вдовушке, хлеб есть надо, жить надо. Вот и принимает, кто побогаче. Любке и мякининским девкам обещал завязать подолы на головах и голяком пустить по деревне, но все недосуг. А жизнь шла своим чередом.

– Мы и без попа можем сделать тебе судилище, каленым железом грехи изгоним, очистим твою душу от скверны.

– Слушай, Ефим, ты грамотей средь нас, многожды читал скитское покаяние, там написано: «Отпусти мне, боже, беззакония моя: зависть, сребролюбие, славолубие, гордость и непокорение...» Скажи, что у меня есть: серебро, славолубие? Неужли ты не поймешь, что это ладно для того, кто правит нами. Не быть гордым, быть покорным. А я мужик, я рожден быть гордым и непокорным. Ты хочешь исделать меня другим? Не выйдет, Ефим, потому нишкни и не пужай меня. Могу осерчать и выдрать бородавку.

– Тяжко спорить с тобой, зловредный ты мужик.

– Не зли, Иване, раба Ефима, – притворно запричитала Харитинья, повела глазами, а в них задор, смешинка. – Пропадем мы тогда, ить спать вместилах не дадут, у попадьи в подполье будут держать, – дрогнули брови-дуги, потянулась гибким телом.

Крякнул Ефим от греховных мыслей, хохотнул Иван, усмехнулся Феодосий. Харитинья, когда надо, любого в соблазн введет, и потянется за ней мужик, как бычок на поводке. Зубин большие деньги предлагает за короткую любовь. На то же подбивает и Мякинин. Но Харитинья горазда подразнить мужиков, а дальше не подпустит.

– Придется бегать к Зубину аль, на худой конец, к Фоме – рыжему. Не люблю рыжих, а что делать?

– Будя молоть языком, – оборвал Феодосий. – Нашли время чесать языки, нужда в дугу гнет, а они про блуд. Кормите.

Ели шумно, ели долго, набивали животы травой. Запили квасом. Жить можно. Не грех и подремать чуток, кто горазд, а кто хочет говорить о деле – пусть говорит.

– Есть у меня думка шальная, бродяга ту думку заронил, душу сволновал. Бежать нам надо в Сибирь и еще за Сибирь. Там где-то есть Беловодское царство, вольные земли, вольные люди. Земли пустошные, ничейные, знать, наши, мужицкие. Ни царя там, ни разных живогло-тов.

– Хэ, спятил, старик, – хохотнула Меланья, – в Сибирь за долги гонят, а он сам готов бежать по сказу бродяги.

– А че, пошли, Меланья, может, хошь раз наемся досыта, – подмигнула Харитинья.

– Я хошь завтра готов чапать, – потянулся Митяй.

– Сиди уж, по дороге свои мосталыги растеряешь, – цыкнула Марфа.

– И все ж подумать надо, мужики и бабы, здесь дожили уже до ручки.

Феодосий долго рассказывал о неведомом царстве, своего добавил, и выходило так, что хоть сейчас снимайся и убегай в ту страну.

– Антиресно, – крутнул лохматой головой Иван.

– Может, и антиресно, но рази можно оторваться от родной земли? Не было бы солоно? Как здесь ни тяжко, но свой дом, свои дороги. Не подходит! – взвился Ефим. Было с чего.

– А может быть, подходит? Подумать надо, – подала свой голос Марфа. – Рази здесь мы живем? Не живем, а сырой головешкой шаем.

– Пошли, Ефиме, доделаем мы тебя нашим святым, – захохотала Харитинья.

– Можно и здесь стать святым, молись и бога не гневи.

– Нет, Ефиме, здесь тебе не быть святым, здесь палку брось и в святого попадешь.

На сук села сорока. И ну трещать, свистеть, мешать душевному разговору.

– Киш! Затараторила! Шугните ее, парнишки! – крикнул Феодосий.

А парнишкам того и надо. Надоели им разговоры о нужде, о голоде, бросились гонять сороку. Митяй тоже не отстал. Сорока, разморенная жарой, метнулась в кусты, затем в лесок, на покос. Не отстаёт ватага. Загоняли сороку, упала в куст. Митяй выхватил ее из куста, шепнул мальцу:

– Сбегай принеси просмоленную веревку, мы ей счас комедь устроим.

Привязали к лапкам кусок веревки, подожгли и под свист, улюлюканье отпустили сороку. И понесла она за собой огонь, понесла пламя. До такого мог додуматься тоже только Митяй. Кругом сушь, одной искры хватит, чтобы сжечь всю округу.

– Ехать надо, – доказывал Феодосий – Терять нам нече.

– Нищему пожар не страшен, подпоясался и пошел дальше.

– А наших сопляков с собой возьмем али здесь оставим? – похохатывает Харитинья, не верит она в эти задумки. Осинового мужика сковырнуть с места, от своей земли оторвать? Нет. Вперед Кама вспять потечет, чем пермяк свой угол оставит.

– Коров тоже с собой возьмем, привяжем к хвостам сено и пошли искать то царство, – улыбается Меланья.

– Нишкни! – насупился Феодосий.

– Да подите вы, пустомели. Затеяли пустое, людям мозга засоряете, – отмахнулась от мужа Меланья.

Харитинья знала мечту Ивана – разбогатеть. Но не получалось: ловил рыбу – прогорел, плавил лес – денег не прибавилось, а на углежогстве и вовсе нищим стал. Ведь копейка к копейке липнет, а рубль к рублю, а у Ивана все богатство, что полон дом детворы. Вот если бы Иван вышел на разбойную дорогу, как это сделал когда-то Фома, то можно было бы и разбогатеть. Честный человек богачом не станет: либо разбой, либо обман. А у Ивана – душа чижики, не приемлет разбоя, а обмана с детства не терпел. Такому не разбогатеть.

– Меланья, ты не серди меня, я ить правда той землей живу в думах и во снах.

– Ну и живи, без нас-то вы все равно не трекнетесь. Мелете языками, как псы хвостами, – бросила Харитинья и прилегла на сено.

– А как ты, Марфа, про то думаешь? Ты голова семьи, Митяй... – Феодосий не договорил, поперхнулся, глаза полезли из орбит, вскочил, закричал: – Караул! Горим!

Что ни говори, а веселущий человек Митяй. Даже когда сорока села на первый стог, с горячей веревкой за хвостом, он вместе с мальчишками хохотал, приседая на журавлиных ногах, бил себя по бедрам. Только дикий крик Феодосия оборвал его смех и хохот.

Сорока сорвалась с пылающего стога, полетела на другой стог. А стога выстроились рядом возле леска, знай поджигай. А их тринадцать.

И загудел огонь, заревели люди, заржали кони. Тугое пламя метнулось в небо, туда же искры, черный дым. К стогам на двадцать сажень не подступишься. Те, что уже горят, – не

спасти. Надо спасать остальные стога. Но огонь полыхнул по засохшей траве, перекинулся на лес, охватил кольцом еще целые стога...

На помощь бежали соседи, ведь огонь мог перекинуться и на их покосы. Бьют, сбивают огонь ветками, но они горят, армяками, чем только можно. Но... Загорелась даже земля. Теперь уже горели все стога. Однако общими силами удалось укротить огонь, что ходко бежал по травам. Стога спасать и думать нечего.

Крики, стоны, бабий плач. Ефим подскочил к Ивану, схватил его за бороду, дико закричал:

– Вот где твое богохульство оторпнулось! Антихрист! Бейте его! – и первым ударил в скулу.

Иван не остался в долгу, хрястнул Ефима в челюсть, тот откатился на горелые травы. На Ивана бросился сын Ефима, Роман. Тоже был сбит. Но вскочил, а тут на Романа метнулся Степан Воров. Куча-мала. Горшковы, Пятышины, Пырковы бросились разнимать драчунов, но, получив по удару, тоже влезли в драку. Дрались за прошлые обиды, дрались, что не могут вырваться из нужды. А стога догорали. Пятышины взяли сторону Воровых, Пырковы пошли за Ждановых. Втянули в эту драку и Андрея. Все смешалось. Дрались бабы, таскали друг друга за волосы, дрались мальчишки, они тоже что-то не поделили. Гудел пожарище.

Марфа подозвала Митяя, сняла с него осторожно очки, в очках она его никогда не била, слишком дорогая вещь, можно и разбить, начала бить и приговаривать:

– Охлопень! Это ты мальчишек надоумил веревку поджечь! Ты сжег сена! Ты в разор нас пустил! – Била ритмично, наотмашь, будто вальком по белью. Голова Митяя моталась из стороны в сторону, не кричал, не сопротивлялся, а только мычал. Шибко била.

И вдруг крик:

– Митяй поджег сена! Пошли бить Митяя! Бить Митяя!

От крика драка распалась, хотя кое-кто напоследок дернул «недруга» за бороду, но все повернулись в сторону Митяя. Затем бросились к нему. Но Марфа загородила собой Митяя, раскинула руки, закричала:

– Не подходи! Зашибу! Не дам забижать Митяя! Всех в узел свяжу!

Крик не остановил, пришлось защищать Митяя силой: схватила за руку Ивана Ворова, полетел в сторону, будто пушинка, подвернулся Ефим, того поймала за ногу, на десять саженей отлетел. И пошла воевать. Кого хватит кулаком – волчком завертится, а кого сведет лбами – искры из глаз. Митяй за спиной, да еще подсказывает, кто откуда заходит...

Феодосий не дрался. Он стоял на угорье и смотрел куда-то за огонь, за дымы, еще более взлохмаченный, пламенел на солнце, на огне, шерил зубы, ноздри трепетали. Ветер надул его рубашку колоколом, сейчас улетит старик.

Драка, как и огонь, начала затухать. И вдруг над этим затишьем повис мощный голос Феодосия:

– Гроба мать! Смотрите, видение зрю! Вона на небеси показалось!

Люди вздрогнули и замерли, вскинули побитые лица в небо, зажимая расквашенные носы, смотрели туда, куда показывал Феодосий.

А в небе действительно плясали Иисус Христос и черт с рожками и хвостом, такие коленца выделявали, что любому плясуну на зависть.

Мираж был настолько четким, видимым, что казалось, завис над покосами. Ахнули люди, кто-то упал ниц, закрыл голову руками, другие бросились в деревню. Ефим Жданов часто-часто крестился, читал молитвы.

– Зрите, люди! – гремел Феодосий – Христос с дьяволом «Барыню» отплясывают. Вот как наш бог радеет о людях! Вот почему нет на земле радости и сытности! Отрекаюсь! Будь ты проклят! – грозил в небо волосатым кулачищем Феодосий, еще, более могучий, страшный.

– Сатано! Сатано! Феодосий – сатано! Дьявольское наваждение ниспослал нам. Душу дьяволу продал, чтобы он сомустил наши!

– Зрю рога на его лбу! – завизжал Ефим и в ужасе бросился бежать.

Мираж растаял. Феодосий устало сказал:

– Вставайте, люди. Не я сатано, а наш бог сатано. Вставайте, подружки наши. Теперь мы стали боле того нищи. Теперь нам одна дорога – в Сибирь. Больше не на че надеяться: хлеба высохли, сена сгорели, денег нет. А там голод, розги, болеть душевная.

И встали люди, кудлатые, побитые, ошалевшие, в глазах боль, страх, тоска.

– Как же ты смог показать нам бесовское игрище? – закричала впервые в жизни на мужа Меланья.

– Не показал, а само показалось. Откель оно пришло – не знаю.

– Бога проклял! Отрекся от бога. Господи, прости ему согрешения вольные и невольные.

– Мне снова, простит аль нет, у нас нужда, а он с чертом пляску затеял.

Люди, осеняя себя крестом, расходились по своим покосам. Остались погорельцы, кто не убежал в деревню. Присели на кочки, головы опустили.

– Вот оно, явление Христа народу! Все видели?

– Тогда не судите меня за отречение. Доходил я душой давно, что бог и дьявол – едины, счас глазами узрел. Все, отрекаюсь от бога, совсем отрекаюсь, – неуверенно говорил Феодосий.

– Не спеши, Феодосий, отречься, может быть, дьявол в лик божий превратился, чтобы нас сомустить, – проговорил Иван, сморкаясь кровью.

– Я тожись отрекаюсь от бога! – с плачем бросил Митяй. – Марфа бьет, жрать нече, жисть дохлая. Отрекаюсь!

– Я те отрекусь, на одну ногу встану, за другую дерну и сделаю из тебя двух Митяев, – прохрипела Марфа, прикрыла толстые колени изодранным в драке сарафаном.

– Уходить надо. Это уж точно, жисти здесь не будет.

– Отрекаюсь! – хныкал Митяй, поправляя очки.

На колокольне загудел набат.

– Неужли где еще горит? – завертел головой Феодосий. – Ну беда.

– Это Ефим полошит народ. Дурак старый! Пошли в деревню, – поднялся Иван. – А ить славно подрались. Мне так звезданул Горшков, что досе скула ноет.

– В Сибирь уходить надо, – тянул свое Феодосий.

– Нет, на месте и камень обростает.

– Нашей нуждой.

– Бабы тожить ладно дрались, хоть чуток вшу из голов повыскребли. Пошли быстрее, может, и не Ефим полошит... А вы, бабы, приберите грабли, что не сгорело, несите домой, – наказал бабам Иван.

Ефим влетел в церковь грязный от сажи, в крови, в поту и тут же запнулся за дьяка, который валялся в блевотине. Бросился в клетушку звонаря, тот тоже лыка не вяжет. К попу, но его шугнула поленом попадья. Влетел на колокольню и начал бить в колокола. Очнулся дьяк, полез на колокольню. Ефим заорал:

– Силов бога проклял, отрекся от бога! Анафеме предать надобно.

– Неможно, на то надо разрешение епископа аль еще кого. Проклял бога? Эка невидаль, я давно его проклял и отрекся. Все мы от него отреклись, а батюшка еще раньше меня. Нет бога. Все то дым, туман, – пьяно говорил дьяк – Зелье – это бог, дажить лучше, тьма, но не вечная. Бог – тьма вечная.

Ефим влепил дьяку затрещину, закричал:

– Ты что глаголешь? С ума спятил от зелья? В губернию пожалуюсь! Цыц, дьявол!

– Погодь, погодь... Гришь, отрекся от бога! Анафема! Гони звонаря сюда, я пороблю. Анафема!

Ефим облил звонаря холодной водой из колодца, тот очнулся, понял, что от него хотят, пополз на колокольню, сменил дьяка и ударил в колокола веселую «Барыню». Так и слышалось: «Барыня с перебором, ночевала под забором...»

Сбежался народ. А дьяк уже стоял на паперти и могучим басом орал:

– Анафема! Грешнику и богоотступнику рабу Феодосию – анафема!

– Анафема! – визжал Ефим Жданов.

– За что Силова предают анафеме?

– Не знаем.

– Анафема! – орал дьяк.

– Анафема! – прокричал звонарь с деревянной колокольни и свалился под колокола досыпать.

– Тиха, Ефим Тарасович говорить будет.

– Такие дела, братья во Христе, значитца, у нас был пожарище. Потом Феодосий показал нам сатанинское видение, будто Иисус Христос с дьяволом «Барыню» плясали. А как отплясали, Феодосий тут же отрекся от бога. Сатано он, давно в его душе дьявол сидит. Он меня не одна подбивал отречься от бога, – забыв о старой дружбе, о том хлебе и соли, что съели вместе в мытарствах по земле, рассказывал Ефим.

– Анафема! Отлучить от церкви и сжечь на кострище колдуна.

– Анафема! В омут нечестивца! Зовите попа, пусть отлучит от церкви!

– Поп не может, намедни он крался от Параськи, а Ларька его перестрел и колом хлопнул. Анафема!

– Пымать Феодосия и на судилище! Сюда его, сатано!

– В церковь нельзя, осквернит святыни! Анафема! Анафема...

## 8

Косоротились мужики, изрыгая проклятия, а из синей дали накатывалась дробь барабана.

Трам-та-та-там! Трам! Трам! – Барабан гремел, густела его дробь. Это Никита Силов шел со службы царской. Двадцать пять лет отбарабанил, за это получил ружье, амуницию и барабан. На груди Георгиевские кресты, медали.

Трам-та-та-там! Трам! Трам! Трам!..

Феодосий и Иван, не зная, что творится у церкви, подбежали к толпе. И их тут же вытолкнули на паперть. Не успели и слова сказать, как скрутили руки, прижали к стене. Больше всех старался Зубин, между делом дал Ивану под дых. Тут же крутился Фома Мякинин. Хотел было торскнуть по сопатке Феодосию, но сдержался.

Звенят на груди кресты и медали. Все это добыто в бою, через свои раны, кровь людскую. Может быть, впервые в свое удовольствие тянул носок Никита. Радовался, что еще в силе. Артикулы ружьем выкидывал. Что есть мочи бил тяжелыми ботинками по пыльной дороге. Все позади. Впереди жизнь, какой-то она будет?..

– Анафема! Несите дров на кострище! Колдуна сожжем, а Ивана плетями выпорем!

– Сжечь и Ивана! Анафема! Он давно воротит нос от бога!

На паперть поднялся Митяй. Встал рядом со связанными друзьями, вскинул голову, крикнул:

– Коли их жечь, то и меня жгите!

– Не трогать Митяя! Гоните его прочь!

– Я тожить отрекся от бога! Анафема! – невпопад закричал Митяй. В толпе захохотали. – Не уйду, они мои побратимы, я до последнего издыхания с ними.

– Чего с дурака взять? Гоните его! Где Марфа, пусть бы она наклепала ему по загривку.

– Еще с покоса не вернулась, сейчас придет. Анафема!..

Шел Никита по ровной дороге, его всюду встречали доброй лаской, с той же грустью в глазах провожали. Дети махали ручонками вслед, а он им на потеху бил в барабан, будил сонных собак...

Анафема!..

Шел Никита и широко улыбался родной земле, солнцу палящему, небу, все это будто увидел впервые. Млел от песен жаворонков, хмелел от трелей соловья. Но и тревожился, видел, как горит земля, неурожай... Падал в нескошенные травы и тут же засыпал. Засыпал под говор пересохшего ручейка, с теплом в душе и радостью в сердце. Знал, что больше не закричит на него служака-фельдфебель: «Подымайсь! Стройся! Мать вашу поперек!» Спит Никита где захочет, радуется тишине, к сердцу прислушивается. А оно трепещет, дом близко, дом чувствует...

– Анафема! Читай, Феофил, очистительную молитву, и с богом почнем. Да пусть примут покаяние, ить были христианами.

– Детей и женок в огонь!

– Анафема!..

...Загрустил Никита при виде родных мест, прошлое темной тучкой накатило, грустью наполнились глаза, на сердце камень. Отяжелели ноги, не спешит Никита в родную деревню. А зря. Зубин и Мякинин уже подбили народ, чтобы сжечь всех трех еретиков. Уже Митяя связали. Давно, конечно, не считая Митяя, стоят эти двое у них рыбьей костью в горле. Урядник тоже спешит к церкви. Он не будет вмешиваться в дела церковные, но все же приятно посмотреть, как будут жечь врагов.

– Анафема!

– Сжечь еретиков и бунтовщиков, царя бунтуют, бога отвергают. Анафема! – визжит Мякинин.

Тяжко народу. Голод страшной тенью маячит впереди. Убить Феодосия, а случись бунт, ведь без Феодосия они стадо баранов. Он всегда даст совет, может встать в голову бунта. Ошалел Ефим – супротив друга пошел. Дурит старик. Рвет путы Феодосий, хочет что-то сказать, но рот клепом забит. Уже слышны голоса:

– Наложить епитимью!

– Отлучить на чуток от церкви, а потом спросить сызнова, что и как.

– Пусть каются!

– Их бес попутал!

– Анафема! – глушат эти голоса сытые глотки богатеев.

Иезуитство, время жестокой веры, пусть все это не так сильно выпячивало на Руси, но сжечь в срубе могли. Тем более колдуна. Анафема! Хотя без разрешения верховной власти церкви – это уже самосуд.

А люди все бегут и бегут на крики. Бегут бабы, дети, всем интересно, как будут жечь колдунов.

Были собаки. Быть беде.

– Анафема! – громче всех орет Зубин, гоношит костер, мужики копают ямы под столбы, сам же косит глаза на Харитинью, которая только что подбежала, в немом испуге прикрыла рот платком, часто дышит, еще не знает, что делать: броситься ли на выручку мужу или закричать истошно. Может быть, это шутка, может быть, новое представление дает Иван. – Анафема! – «Теперь не уйдешь ты от меня, – думает Зубин. – Моя будешь...»

Смолк барабан. Никиту захлестнули воспоминания. Вот мостик, совсем развалился, не чинят, а тогда был новым. Вон озеро, и оно уже заросло камышом. На этом озере Ефим и Никита ловили карасей. Тогда Никита был верткий, как шуренок. Все ушло, все мимо прокатилось. Стал сед, неповоротлив. Служба укоротила жизнь. Годы, годы, вернуть бы их назад! А вот здесь Никита спасал Ефима. Ефим вухался в болотину и начал тонуть. А через год – Ефим Никиту.



– Поди, забыл, что я есть на свете, – выдохнул Никита. – Как они живут? Скоро увижу. Должно быть, как все мужики расейские.

Еще один мостик, еще один ручеек. Скрипнули под ногами бревна, защемило сердце, туман застлал глаза.

– Ксина, любушка! Жива ли ты? Вот и я возвернулся. Отзовись!

Нет, не проскочить голосу из прошлого, через двадцать пять лет. Не сможет крикнуть из небытия Акси́нья Стогова. Забил ее вожжами суровый и ревнивый муж Трефил Зубин, замурыжил. Двадцать пять лет! Ничего назад не возвращается, даже вчерашний сон...

– Анафема!..

Вся деревня провожала рекрутов, тех, кому выпал тяжкий жребий идти в солдатчину. Никто не виноват, сам Никита вытянул из шапки свою судьбу, трудную и горькую. Могла оказаться там бумажка, что быть ему дома, не оказалась... Плакала жалейка Петрована Пятышина. Умел старик выводить на ней дивную музыку, да такую, что за сердце брала. Ох, как брала, что и слез не удержать! Голосили матери, никли их головы, как травы под ветром, к пыльной дороге. Чуть потише плакали невесты. Уходили суженые, уходили, можно сказать, навсегда. Кто же будет ждать солдата двадцать пять лет?

– Ждать ли тебя, Никитушка? – спросила, рыдая, Акси́нья – Скажи слово, до седых волос буду ждать.

– Неможно ждать. Ежели не убьют на войне, то вернись стариком. Ты тоже уже будешь не молодежи. Не томись. Вей гнездо. Всякая птаха вьет гнездо смолodu, птенцов выводит, чтобы земля не скудела. Прощай! Даст бог – свидимся. От судьбы не убежишь, от судьбы не спрячешься. Вернись, хоть детьми твоими порадоюсь. Прощай!..

Люди, толпа, неразумность. Зубин спешил, в глазах нелюдской блеск, руки в тряске, тело в переплясе дикой радости, что наконец-то освободится от врагов своих. Толпа тоже напряжена. Толпа тоже готова бросить в огонь старых друзей...

Один из всех, кого взяли в рекрутчину, Никита возвращается домой. Несет плохие вести матерям и отцам. Только живы ли они? Братья должны быть живы. А что братья? Они за нуждой забыли, кто ушел, а кто остался дома, кого любить, а кого ненавидеть.

Здесь Акси́нья целовала и миловала Никиту. Двадцать пять лет берег солдат на своих губах тот поцелуй. Здесь вот они присели. Помолчали, повздыхали... Все это уже стало вечностью. Акси́нья вот у этого дубка, теперь уже дуба, целовала Никиту, обвивалась гибкой лозинкой, людей не стыдилась...

– Анафема! Смолья несите...

Зря она это делала, ведь ей здесь жить, ей быть чьей-то женой. Никита ушел под ружье солдатское, все за собой оставил. Ад войн выбелил его волосы, вынул душу. Любому прохожему отдал бы Никита свои кресты и медали, чтобы хоть день побыть в прошлом. Да что там кресты!..

Сейчас поведут Феодосия и Ивана к столбу, скрутят их одной цепью, так-то надежнее. Митяя не хотят сжигать.

– Люди! Кого вы слушаете? Эти кобели старые, псы вонючие давно зубы точат на наших! – наконец-то закричала Харитинья. Сбила с паперти Зубина, подскочила к Ивану, вырвала кляп изо рта – Зубин и его свора хотят сжечь самых праведных мужей. Люди!

Позади рев Марфы:

– Эт кто моего Митяя спеленал? Кто его забижает? А? Митенька, я счас. Разойдись! – Марфа взмахнула тяжелой дубиной над головами, и толпа подалась в сторону, расступилась. – Митяя мучить? Убью!

Едва увернулся от дубины Зубин, кубарем скатился с паперти Мякинин. Марфа поддала дьяка ногой, тот улетел к столбу. Она же схватила Ефима поперек и бросила на головы людей...

– Вот я и пришел, – грустно сказал Никита, тронул корявой рукой почерневший угол чьего-то дома, загрустил. Но тут же расправил плечи и ударил в барабан, да так, будто солдат вел в бой. Без его барабана – не бой... Бьет кленовыми палочками по тугой коже, гудит барабан, поет барабан. А впереди и верно бой, здоровенная баба разгоняет толпу, машет над головами дубиной. Но не бьет, только пугает. Заспешил Никита, борода на две стороны, заслужил бороду. Услышал барабан народ, затих. Опустила свою страшную дубину Марфа, остановилась. А то уже деревня разделилась на две стенки, быть бою.

– Вяжи стерву! – закричал Зубин, но сам не подходит близко, чужими руками хочет укротить Марфу.

Никто не решается вязать Марфу. Не по силе многим. К тому же она метнулась на паперть, порвала веревки, освободила пленников. Силы прибавилось. Эти будут драться насмерть. А за спиной Марфы дружки Феодосия уже начали хватать поленья, что приготовили на костер, Зубин своих дров не пожалел, готовы дать бой.

– Что вы творите? Сами вы колдуны, еретики, винище хлещете, скоромное в постные дни едите. А ты, Зубин, среди раскольников вьюном ходишь. Все знаем, свидетелей можем привести! – кричала Харитинья.

Трам-та-та-там! Трам! Трам! Трам! Трам-та-та-там!

– Анафема! – очнулся дьяк, поднимаясь из пыли. Остановился Никита перед ошеломленной толпой, руку бросил к шапке, отдал рапорт:

– Бомбандир Измайловского полка, третьей роты, первого взвода Никита Силов прибыл после прохождения службы царской! – Сам же себе приказал: – Смирно!

Все стоят, и никто не может признать служивого, – может, и правда Силов, а может быть, из другой деревни, там тоже есть Силы? Даже Феодосий нахмурил лоб, что-то силится вспомнить. Батюшки, так это же родной брат, Никита!

– Никита, годок! Вернулся! – бросился к Никите Ефим Жданов, облапил служивого, ткнулся грязной бородой в бороду дружка, прослезился. Но Никита и здесь солдат, он оттолкнул дружка, выбежал на паперть.

– Что происходит, миряне? – зычно крикнул.

– Колдунов собрались жечь. Твоего братца. Он видел видение на небеси, – ответили из толпы.

– Како тако видение?

– Бог с чертом на небеси «Барыню» отплясывали.

– Ну, – притворно удивился Никита, – знать, и здесь такое появилось?

– А че, рази еще где бывает?

– Бывает, мне не мене как сто раз видеть такое доводилось. Особливо в пустынях. Жара, а там, гля, озеро в небе висит. Другой раз будто и на песках, мы к нему, а оно все дальше и дальше. Перса мы воевали, так я видел в пустыне, как корабель плыл по небу, потом видели всем полком, как Христос шествовал по облакам, тожить чутка приплясывал. Это все от духоты. Потому зряшно вы забираете людей.

– Феодосий от бога отрекся, как посмотрел, что Иисус Христос с дьяволом заодно, тут же и отрекся.

– Хе, пустое, наш полковник тожить не однавот отрекался от бога, а как глянет смертушка в глаза, так снова за бога. Это он не отрекся, а поругался с богом.

– А рази же можно ругаться с богом, ить он не баба?

– Знамо, лучше не ругаться, а ежли такое привиделось, то можно и ругнуться. Потом Феодосий не знал, что это бесовское видение, кое чаще бывает в жару, обманное видение. Миражой оно называется.

– Вот ядрит твою бабушку! Сразу видно, солдат, все знат, все ведат, – загудела толпа. – А не врешь, служивый?

– Вот вам крест, не вру! – перекрестился Никита. – Ефим, ты дружок, тебе и скажу еще чего на ухо. Иди, не бойся, ружье мое не заряжено, – усмехался Никита.

Ефим влетел на паперть, Никита что-то зашептал на ухо. Ефим тут же отпрянул, закричал:

– Врешь! – Глаза его полезли из орбит. – Не может того быть, чтобы царь не верил в бога!

– Да не ори ты! Ить я тебе только на ухо сказал. Слухай и не ори. Однажды я стоял на часах в Зимнем дворце, был Великий пост; гля, царь мимо прошмыгнул с княгиней Потемкиной, еще мне пальцем погрозил: мол, молчи, солдат, не то семь шкур спущу. В Страстную неделю это было, потом ему пронесли курятину, вино и разные закуси. Я молчал. Снова такое же бы то, но уже перед самой Пасхой, я снова смолчал. Царь за верность мне тотчас же поломойку свою подsunул... Чистых кровей баба, ить там дажить полы моют чистые бабы, белые бабы. Потешились мы...

– В пост? – снова вырвалось у Ефима.

– Знамо, в пост, как царь, так и я.

– Врешь!

– Вру, то дорого не беру.

– Никита, сказывай всем, чего же одному-то! – кричали нетерпеливые.

– А еще похабнее наш патриарх, – шептал Ефиму Никита. – Я стоял у его покоев, так он понавел туда разного цыганья, заставил всех раздеться, а потом ходил среди голых баб и за сиськи дергал. Другое-то уже не может, так хоть так поигрался.

– Врешь.

– Вру, тогда смотри! – Никита расстегнул мундир, выхватил нательный крест и смачно его поцеловал.

– Вот якри ты в нос, что деется.

– Везде одна шайка-лейка. А вы тут за миражу людей в костер.

– Не верю!

– Отсохни у меня язык, ежели что.

Ефим скатился с паперти, начал что-то шептать друзьям. И пошло. Мужики ругались, другие хохотали, бабы визжали. А когда сказанное Никитой дошло до последних, то выходило, что царь сам голяком по Питеру бегал, по иконам стрелял, баб черных к себе водил, даже срам с бабами в церкви творил.

И те, кто стоял стенка на стенку, начали смешиваться, переговариваться.

– Анафема! – снова пьяно завопил дьяк.

– Цыц, паскуда, дай послушать доброго человека. И царица у солдат спала. Эко повезло Никите, саму царицу тискал. А ить сказывали, что после одной ночи с солдатом она приказывала убить солдата. Глянуть бы на нее одним глазом, там можно и помирять.

– Дурак, то Катька убивала солдат, а энта добрее.

– Цари тожить люди, а у цариц все такое же, как у наших баб. Однако приятно...

– Царица рази баба?

– А кто же? Такая же баба, однако своя привышнее.

В толпе смешки, нервное напряжение спадало. Пермьяки – народ отходчивый, долго зла не помнят. Даже после драки могут легко помириться.

Урядник понял, что дело повернулось не в его пользу, решил вмешаться, расталкивая людей, закричал:

– Анафема! Зубин, разводи костер! Колдуна в огонь!

А навстречу Никита. Остановились друг против друга, Никита усмехнулся и сказал:

– Ваше благородие, вы чего полошите народ? Это дело церковное, а не гражданское. И другое: как вы стоите перед георгиевским кавалером? Устав забыли? Молчать! Мне сам царь-государь первым честь отдавал, пошто же ты не делаешь того же? Во фронт!

Урядник опешил, откатнулся назад. Неумело вскинул руку к козырьку фуражки, левую положил на саблю, расправил грудь, правда впалую, и пошел мимо Никиты строевым шагом, люди расступились.

– Ножку!! Ножку тяни! Брюхо подбери! Грудь держи колесом!

Сельчане и рты раскрыли, глаза навывкат. Отдать честь мужику, такого еще на их веку не было. Тишина, строевой шаг урядника – и враз хохот, улюлюканье, победные крики, свист мальчишек. Урядник сбился с ноги, затрусил домой. Оглянулся, погрозил кулаком толпе, юркнул в калитку.

Зубин и Мякинин не стали ждать развязки, мышатами сиганули за угол церкви, убежали. Буря пронеслась. Никита отвел бурю. Шагнул к брату, обнялись, по-мужицки расцеловались. Никита спросил:

– Скажи по чести, сожгли бы аль только поугнали?

– Сожгли бы, – выдохнул Феодосий. – Сколько бы ни махались поленьями, а нас бы скрутили. А нет, то кто-то бы почил в бозе.

– Свиделись. Веди в дом, братуха. Соскучился по дому – спасу нет.

Обрел дар речи и Митяй, прокричал:

– Дурни, кого хотели спалить? Митяя? А вот вам!.. – Показал кукиш толпе.

Сельчане облегченно захохотали. И верно, дурни – Митяя могли бы сжечь под запарку.

За Феодосием пошли друзья. Ефим хотел было увернуться, но Марфа схватила его, как котенка, за шиворот и повела на подворье Силовых. Вошли во двор. Марфа подвела Ефима к Феодосию, рыкнула:

– Пади в ноги! В ноги, пес бузой! Слезно проси прощения за облыжность и недоумие.

– Да уж каюсь, но ить Феодосий... Он отрекся от бога!

– Молчи! Веру у тебя в бога никто не отнял, но за-ради нее друга в огонь, можно и самому там очутиться! – гремела Марфа. – Сжег бы наших, то и тебе бы не жить.

– То так, от бога можно отречься, но вслух об этом говорить нельзя, знай это, брат. Почти каждый солдат ненавидит царя, но об этом тоже молчит. Даже близкому другу не говорит.

– Отпусти ты его, Марфа, оба мы с ним хороши, – устало проговорил Феодосий. – Садись, Ефим, прощен, чего же тебе еще надо! Садись же!

– Да уж сяду, но вы простите меня, бога ради! Все это от лукавого.

Сели на бревна. Никита заговорил:

– Прошел я много пешки, много видел, не сладка ваша жизнь, но и солдатская не лучше. Врал я Ефиму, что царю брат и сват. Дружками у нас были мордобой, шпицрутены. Но знал, что таким наговором на царя можно остановить народ от драки. Но что бы ни было – солдат с солдатом редко дерется. До драк ли, когда день и ночь на взводе? А потом войны, а потом раны на теле, в душе. И вам не драться надо, а дружить, чтобы легче было беды от себя отводить. Где Аксинья? – вдруг спросил Никита.

– Умерла. Три сына и дочь после себя оставила. Трефила знал ли? Богач. Он-то и хотел нас сжечь, – ответил Феодосий.

– С чего же он разбогател?

– С разбоя, купцов с Фомой Мякининым грабили на Казанском тракте. Едва от каторги открылись. Деньги награбленные спасли. Потом, когда был картофельный бунт, они с башкирцами грабили шадринцев. Тоже прибавка к богатству. Солдаты тоже усмиряли.

– Был и я на усмирении. Жуткое дело. Когда воевал перса, турка, там все было ясно – это мой враг, он хочет убить меня. А мужик – разве мне враг? В первые годы службы был на усмирении декабристов. Это офицеры. Хорошие люди. Хотели скосырнуть царя, дать послабление солдату и мужику, но не вышло. Один проморгал, носом прохлюпал, другой струсил. Нас не позвали. Мужиков не кликнули. А тут нас под присягу – и делу конец. Присяга не баба – ей не изменишь, а изменил, то голову на плаху аль прогонят через палки, все одно смерть. От

палок нашего брата погинуло тыщи, кто выживал, тот умом трекался. Что говорить, в России сладко живется тем, кто правит.

– Как сам жить будешь?

– Дали пенсию. Женюсь. Земли прикуплю и буду жить тихонько, доживать век.

– Ну, други, по домам ходите, кормить будем служивого, хоть репой, да накормим, – отправил домой друзей Феодосий. Нехотя разошлись.

После ужина Феодосий рассказал о своей мечте. Никита пристально посмотрел на брата, пожал плечами, ответил:

– Не след о таком думать. Бывал ведь я и в Сибири. Каторжных провожал. Холоднучая страна, дикая страна. Но ежли честно, то воли там больше. Народ не так забит. Но как же свою землю-то бросить? Здесь могилы наших отцов, то да се.

– А ежли бы тебя убили на войне, то рази бы знали мы, где твоя могила?

– Нет, не знали бы. Но не верю я в то Беловодье. Нет его. Ежли бы было оно, то люд бы знал.

– Я тоже мало верю. Ежли его нет, то можно и свое поставить.

– Не поставить; чтобы было то Беловодье, должна быть армия, генералы, да мало ли еще что. Враг, он нигде не дремлет, чуть что, так и норовит чужой земли кусок прихватить.

– А рази вы не прихватывали чужие куски?

– Не без того. Всяк государь радуется о своих палестинах. Да и хватит об этом, пустой разговор, лучше кажи мне свое семейство.

– Управятся с делом, и покажу.

Дети Феодосия понравились солдату. Особенно по душе пришелся Андрей. А когда узнал, что он дружен с Варей, дочкой Аксины, то просиял, при случае просил Андрея показать ему.

Вечером снова повели разговор про Сибирь. Андрей о Сибири тоже не раз думал. Понимал, что Зубин не отдаст Варю за него. Только Сибирь может их соединить. Варю спрашивал, побегит ли она с ним в Сибирь.

– Побегу. Куда хошь побегу, только скажи когда. Гриша нам бежать поможет. Он один любит и жалеет меня. Боится, что отец просватает меня за Ларьку. Самого ведь отец женил на нелюбимой. Страховата. Зла. Признался мне, мол, не лежит душа, к жене. Даже притронуться гадко, будто к жабе холоднучей! Брр! – зябко повела плечами Варя.

– Отец зовет своих в Сибирь.

– Дай-то бог, да побыстрее бы гоношились.

Шепот в ночи. Шепот в травах...

Ночи, ночи, плачете вы звездами, катитесь бесконечной чередой над землей, несете с собой волны темени. Зачем вы рождены? Сказывал Андрею один бродяга, что ночи рождены для продолжения рода человеческого, для роздыха земного. Ночами милуются, ночами любятся.

Ночи, ночи, кутаете вы травы туманами, умываете землю росами, звените луной, прячете под своим пологом тайны, а звезды что-то хотят сказать. А что?..

Травы, травы, ковер земной. Вы чуду подобны. Вы заменяете постель влюбленным, прячете их в своей густоте. Вы, как и все живущее на земле, спешите пустить буйные всходы, зацвести, заполнить землю пьянящим дурманом, дать семя и увясть. Пролетело лето, а кто заметил? Пожухли травы, поседели, а кто приметил? Все скоротечно, все не вечно. Но вечна земля, вечна жизнь на земле, вечны люди.

Млеет ночь от шепота трав. Душно. Стонет ночь. Шепчут травы извечную сказку о радостях земных. Только полынь-травка горькая не любит радостей, радостных сказов. Так пусть простят ей люди, ведь она растет там, где прошло горе, умерла ли деревня, сгорел ли дом,

бросил ли поле хозяин. Полынь горе людское в себя впитывает, оттого она и горькая, оттого она и молчаливая.

Есть у осиновцев, может быть, еще у кого есть, свой дуб-патриарх, дуб-венчалец, дуб-клятвенец. Стоит он на околице. Никто трав под ним не косит, желуди не собирает. Священный дуб. Пусть это опасное язычество. Оно давно забыто, но под этим дубом будто бы пировал Ермак с разбойной ватагой. Здесь, а это уже точно, дал клятву мужицкий царь, что будет служить верой и правдой народу. Под этим дубом клялись в верности Ефим Жданов, Иван Воров, Феодосий Силов, клялись друг другу, клялись своим будущим женам. Кто порушит клятву – того ждут тысячи бед и несчастий, а их и без того с избытком... Хуже того: кто нарушит клятву, тот не умрет своей смертью. А Ефим Жданов уже предал Силова, Ворова. Не случилась бы вскорости с ним беда...

Бьется подраненной уточкой в ознобе Варя. Звенит сучьями дуб. Опала от засухи с него листва. Душат Варю слезы, не поймет, какие они, то ли от радости, то ли от печали родились. Вчера была непорочной, а сегодня... Дуб-клятвенец повенчал. Страшно подумать. А если оставит ее Андрей, как оставил Софку? Нет, не оставит. Теперь можно сказать отцу и Ларьке, что повенчалась под дубом с Андреем. Должны отступить. И все же не венчанные. Жутковато. Кто в этом виноват? Оба чуть виноваты, ночь виновата, травы виноваты.

Стучит, стучит тревожное сердце. А в груди непонятная, совсем неизведанная нежность к Андрею. Не такая, какая была минутку назад, другая, материнская. Грустно и радостно – бабой стала. Теперь уж точно отвернется Ларион. Сам блудник, сколько девок обманул, а женку хочет иметь непорочную. Дуб-венчалец...

Несет Андрей на руках Варю, будто они вокруг аналоя идут, кружит под дубом и спрашивает: «По любви ли венчалась?» – «По любви, Андрей, по любви, родной» – «Будешь ли любить вечно и без обмана?» – «Вечно и без обмана». Небосвод – купол церковный, звезды – свечи. Несет Андрей Варю туда, где звезды дремлют, в травах путаются. Сила есть – донесет до края земли. До самого края. Молчит Варя, думает, что уже не запеть ей во весь голос, не засмеяться во всю силу. Теперь ей всегда будет казаться, что люди все знают о ней, об ее грехе, только в глаза не скажут. От всех надо будет таиться, но только не от ночи, не от луны-бродяги, не от звезд-плакальщиц.

Ночи, с вас началась жизнь, вами она и закончится.

Сомнения и страхи. Мятая трава под дубом. Стон застыл в его кроне. Там он и будет жить вечно, столько, сколько будут жить Варя и Андрей. Но рядом звенит в ушах и Софкин крик, долгий, зовущий. Как плохо!..

Ночи, ночи, осыпайте бисер звезд, заменяйте невенчанным то зерно, что сыплют на головы. У каждого своя судьба, свое начало жизни!..

Свои ночи и у Никиты Силова. Он, глуша боль в сердце, одиноким волком бродил по ограде, слушал голоса звезд, обонял запах полыни. В этой ночи он трогал тяжелыми руками мягкие волосы Вари, точно такие же, какие были у Аксины. Привел напоказ Андрей.

Днями не сидел без дела, брал в руки топор, рубил, тесал, правил: латал дыры в заборе, поправлял ворота, перестилал крышу. Работой тоску по утраченному гнал. Грустил. В то же время боялся за Андрея и Варю. Думал, как бы отвести от них беду?..

– Отдохнул бы после солдатчины-то, замаяли ить там, – жалела Никиту Меланья.

– На том свете хватит время для отдыха, – отмахивался Никита и снова работал. – Вот помогу вам, потом свое гнездо вить буду. Надо свить, должен свить.

Время, как стон, вырвалось из груди – и улетело. Давно ли горели стога, уже пришла пора убирать хлеба. Но какие? Колос от колоса на два лаптя. Да и колосья жидки, десять зерен

не наберется, тоже тощих. Не хлеба, а горе. Однако спешат жнецы в поле, молотят дорожную пыль лаптями, огрубевшими пятками. Лапти тоже денег стоят. Все на поля, ни одно зернышко не должно упасть на землю. Идут. А походка у всех безрадостная, не упругая. Разве так ходят люди при хорошем урожае, вприпрыжку бегут к хлебам. В глазах печаль. Она даже у детей. Они тоже не идут, а плетутся, тоже похожи на старичков. Им знакома цена хлеба, хлебной крошки. Им уже многое знакомо. Они и говорят приглушенно, будто уже в доме покойник. Серая пыль, земля, серая одежда, такие же думы. Смерть придет к детям, когда полетят первые снегири. Много будет смертей.

Не волнуются поля морем разливанным. Нет. Дрожат колосья жалкими былинками. Горе, горе неутешное. Тоска и страх неумный. Будущее видит каждый, даже ребенок. Мужики уйдут в отход, бабы останутся дома. Им, бабам, придется возить на саночках сено. На этих же саночках отвозить гробики детей, а может быть, просто в рядне. Нет, здесь никто не поможет, никто не подаст куска хлеба. У каждого своя жизнь, свои беды. Потом, только потом узнает отец, сколько зерен выпало из его колоса. Сглотнет тугой ком, что застрянет в горле, смахнет сухие слезы, застынет серым кречетом над могильными крестами. А если дети и баба умрут, то бросит котомку за плечи и пойдет бродить по земле, толочь пыль дальних дорог разбитыми лаптями. Одним бродягой станет на земле больше. А уж с такого подати не возьмешь, можно только на каторгу упрянуть. Но и там есть пути-дороги, которые снова вернут к жизни.

Первый и робкий хруст по ржаному колосу. Пока наберет жнец горсть хлеба, солнце уже сделает полшага по небу. Боже, помощи им! Ну, боже!..

Андрей не пошел на жатву, чего там делать, бабы с отцом управятся. Надо сруб в колодце заменить. Сгнил. Одному Никите несподручно. Меланья тоже хлопотала дома, готовила жнецам скудный обед. Потом надо было за Чернушкой присмотреть, похоже, на днях отелится. Будет молоко, будет махонькая радость.

Никита обтесывал бревна, Андрей рубил сруб. Пора все уметь, мужиком стал. А Никита отвык от топора, неладно у него получается. Сердится на свою неумелость.

– Ничего, дядь Никита, привыкнете.

– Знамо, привыкну. Ить привык только людей убивать. Счас сам себе противен. Но присяга, служба, куда денешься...

Над Камой полыхал закат. Большое красное солнце медленно закатывалось за угорья. Жнецы, усталые, потянулись домой. Неспешный гомон, приглушенный говор...

Во двор Силовых вошел урядник. Поманил пальцем Меланью, что бегала по двору то за дровами, то в погреб за репой. Меланья, заискивающе улыбаясь, подошла к уряднику.

– Веди сюда корову, указ губернатора пришел, скот за недоимку забирать. На ярмарку сгоним.

Меланья не сразу поняла, о чем говорил урядник, глуповато улыбнулась, а когда урядник повторил, что забирает корову, она всплеснула руками, подалась назад, заголосила:

– Господи! Ваше благородие, дэк ить она у нас последняя, одна надея на Чернушку, скоро телиться будет. Повремените, сыны в отходе, вернутся, уплатим недоимку-то.

Голопузая малышня высыпала на крыльцо и тоже заголосила вместе с бабушкой.

– Посмотри на них, голы, голодны, ить за зиму все перемерут! Вона, синими стали от голодухи. Их пожалей.

– У вас дети, а у меня щенята? Нет, Силова, вам я не прощу. Выводи корову! Ну!

– Оставь Чернушку, буду денно и ночью молиться за ваше здравие, – раскинула руки, чтобы не пустить урядника к сараю.

– Прочь с дороги! – сильно толкнул бабу в грудь, она упала.

Заверещали дети, закричал Андрей, Никита, отбросив топор, метнулся к уряднику.

– Пошто бабу бьешь, пошто не внемлешь беде чужой?! – загремел Никита.

– Уйди с дороги! Не мешай службу справлять! Георгиевский кавалер, я те припомню ту встречу! Отойди! – толкнул Никиту в плечо.

Потемнело в глазах у бывшего солдата, и оттого, что его толкнули, и оттого, что люди давятся нуждой, отвел руку и со всего плеча грохнул урядника под скулу. При этом выдохнул, выкрикнул: «Иэх!» – будто дрова колот. Удар испытанный, удар смертельный. Но не думал в тот миг Никита, что будет и как будет.

Урядник грохнулся на спину, брыкнул ногами и тут же испустил дух. Никита пожал плечами, будто чему-то удивился, сказал:

– А ить он совсем хлипкок. Слабее турка будет. Из них не каждого за один раз убивал. Ужли преставился? А за оградой заполошный крик:

– Силовы убили урядника, Фролыча порешили.

– Никита, убегай! Пропали мы! Убегай, Никита! – закричала Меланья.

– Дядь Никита, беги! – вторил ей Андрей.

– Пошто бежать-то? Сумел согрешить – сумей и покаяться.

– Хватай колья, – слышался голос Зубина, – бей супротивников! Спытаем, так ли уж силен георгиевский кавалер, так ли смел!

На сторону Зубина встали его дружки и те, кто был у него в долгах, как барин в шелках, кто подпевал богатею, заглядывал ему в рот. Сбегались жнецы. Рев, а издали гул, будто надвигалась штормовая волна.

– Убегай, дядя Никита, – теребил рукав полюбившегося дяди Андрей. – Убегай! Зубины убьют тебя! Никита поднял с земли кол, примерился, сказал:

– Турки не убили, персы не убили, а уж эти не убьют. Жидки. А потом, где ты видел, чтобы русский солдат убегал? А? Племянш? – Покрутил кол, отбросил в сторону, легок, не по руке. Вывернул сырой сосновый кол, пошел к воротам. А там уже трещали заборы, люди Зубина вооружались. – Тиха, братцы! – прокричал Никита. – Урядника убил я ненароком. Чуток тронул, а он тут же окапустился. Не затевайте драки. Ты, Зубин, не подбивай людей, бед и без того хватает. Я убил, я и буду один в ответе.

– А, трусил! Трусит георгиевский кавалер! – заорал Зубин. Двинулся на Никиту, замахнулся колом, но Никита легко отбил удар. Вышиб кол из рук Зубина. Солдат, дело знакомое.

Загудел тревожно колокол, полыхнул по сердцам людей. Зубинцы начали насаждать на Никиту, он спокойно отбивался. Сбоку крик Феодосия:

– Наших бьют! Навались, мужики, бей гужеедов! Бей шкурников!

И началась коловертъ. Трещали колья, хрустели кости, смачно прилипали кулаки к окровавленным носам. Драка раскручивалась.

Над Камой догорал закат. Чуть посвежело. Далеко, за угорьями, за латками леса, может быть, у Уральского хребта, погрохатывал гром, гроза тянулась за солнцем. На Каме прогудел пароход. Жизнь, обычная жизнь перед засыпающей землей.

А здесь шел бой, не просто драка, а бой, уже стонали раненые, хрипели умирающие. Бой не кулачный, бой смертельный. Мякинина взяли в кольцо бедняки, сейчас раскрошат колями голову. Закричал:

– Ларион, убивают, выручай!

Мякинины дрались на стороне Зубина. Дружки, за кого же больше драться? Ларион, обладая звериной силой, пробивался к отцу. И покажись ему, что Трефил Зубин замахнулся на отца, убьет. Опередил, со всей силы опустил кол на шею Зубина, хрустнули кости, мотнулась голова, Зубин откатился к забору. Дернулся и затих.

– Трефила убили!

Хрипы. Стоны. Крики.

– Трефил отошел! Тикайте, братцы! Бегите!



И жуткий ком распался. Зубинцы дружно бежали. Остались среди победителей Фома и Ларион Мякинины. Остались, сами не ведая почему. Кровь убитого не отпускала, как позже скажет Фома.

– Бей и этих! – закричали бедняки.

– Не трожь, они Зубина ухайдакали. Молодцы! Одним разбойником стало меньше. Ну, Фома Сергеевич, на чьей ты будешь стороне?

Молчал Фома. Окровавленный, и в своей и в чужой крови, стоял над Зубиным.

– Запутались дружки, смешали левую руку с правой рукой. Каторги кое-кому не миновать. За урядника мы в ответе, за Зубина вы, Фома Сергеевич, а за убитых бедняков отвечать некому, – тихо говорил Феодосий.

Закат потух, начали напоздать сумерки. Тихие и осторожные.

И эту тишину разорвал звонкий голос Харитины:

– Бабы! Пошли рушить дом урядника! Там все, наши долговые записи. За мной, бабы! Мужики повоевали, а чем мы хуже их?!

Бабам тоже захотелось отвести душу, на ком-то сорвать зло.

И двинулась бабья рать в сторону волостной управы. Побежала. Подолы широких сарафанов в руках, в глазах решимость. Бежали бабы, несла их невылитая ревность к Любке-уряднице. Редкий мужик не побывал в ее постели, мягкой, чистой. Любка всех привечала, даже Митяй побывал там – правда, Марфа об этом не узнала. Узнай, то давно бы не жить Любке. С Марфой не шути.

Бегут бабы, стонут и режут от ревности и злобы. Страшись, Любка! Падай на тесня и убегай в уезд, под штыки инвалидной команды. В ревности баба – зверь!

Мужики смотрят вслед бабам, еще не отошли от драки, сняв картузы, застыли над мертвыми, не останавливают баб.

– Вперед, бабы! Бей! Круши! Пожгем долговые бумаги, Любку за космы оттакаем!

Бабы дикой оравой ворвались во двор урядника. Все здесь чисто, дорожки песком посыпаны. Живут, как бары.

Любка уже знала о смерти супруга, стояла на крыльце с ружьем в руках. Даже в сумерках видно, как она красива: коса висит толстой змеей до пояса, не носит, блудница, шамшур, не прячет волос от мужских глаз, белеет чистое лицо, кажется, что глаза ее горят, в них полощется гнев, дрожат ноздри тонкого носа, трепещут, а сочные чувственные губы изрыгнули страшную брань:

– Назад, паскудины! Стойте, ополоски! Стрелять буду! Пошли вон отсюда, вонь мужицкая! – Вскинула двустволку и выстрелила дробью, из обоих стволов, в лица озверевших баб.

– Убила-а-а-а-а! Мама-а-а-а-а!

Кто-то из баб упал. Бабы бросились к Любке, сдернули ее с высокого крыльца, заревели:

– Бей суку! Бей бешеную кобылицу! Она мово Степана не раз привечала.

– Мово парня совсем заездила! Отбила жениха! Бей!

Любку мяти, топтали, таскали за косы. Любка кусалась, визжала, брыкалась. Любка хотела жить! Но бабы не хотят этого понять. Где им понять, усталым и забитым. Любка всегда в неге, в сытности. Но, видно, отжила свое Любка. Отлюбила. Баба в гневе – злее дьявола.

– В людей стрелять! Бейте гадину!

Но уже бить некого было: Любка, разбросав руки, лежала на песке. С нее сорвали сарафан. Красивое у Любки тело, холеное, сбитое тело. Не урядничкой бы ей бабой быть, а барской. Хотя Любка – деревенская девка. Прибрал за долги у соседа урядник. Скоро забыла горечь полыни.

– Несите кипяток, шпарить будем!

– Грешно изгаляться над усопшей, – остановила баб Меланья.

– Грешно, а тебе приходилось всю ночь кусать угол подушки аль от злости жевать гни-  
лую солому? Нет. Потому как твой Феодосий святой человек, а наши все кобели. И не смей  
перечить, жена да убоится мужа своего. Шпарить, пусть покорчится.

– Не дам. Уже отходит, без молитвы и покаяния, – сняла с себя передник и закрыла  
умирающую Любку. – А вот бумаги ищите, в них наше горе, – приказала Меланья.

– Чего их искать, жги дом, все сгорит.

Кто-то вбежал в дом, выгреб из загнетки угли, другие вытолкали детей, и скоро вспыхнул  
дом, светло стало. Длинные языки пламени взметнулись в небо, может быть, дошли и до звезд.

Мужики сносили убитых к церкви, разносили раненых по домам. Пять человек убили.

– Теперь жди казаков, солдат. Ну, убил я урядника по оплошке, так зачем же было драку-  
то затевать? – сокрушался солдат.

– Не мы зачали, Зубин зачал.

– Пороть будут вас, а не Зубина. Правда всегда останется на их стороне...

Любка умерла. Кто-то из баб даже пожалел:

– Красивуца, язви ее. Зазря убили.

– А Параньке дробью глаз выбила тоже зазря? Зуб за зуб, око за око. Праведно убили,  
еще надуть Параську потрясти, тогда нашим кобелям некуда будет бегать, ежели еще Дуську  
уханькаем...

– Вдовиц не трогать. Это божьи женки! Не трогать, говорю! – повысила голос Меланья.

– Верно, красивуца, но скоро бы завяла на нашей работе, – согласилась и Харитинья.  
Теперь у нее соперницы по красоте не будет.

– Детей разведите по домам, – командовала Меланья.

– На кой черт нужны нам эти выблядки. Вырастут, на наши шеи сядут.

– Стешка, води детей к нам. Наша вина, нам ее и переносить, – распорядилась Меланья.

– Бросайте Любку в огонь, чтобы от нее и косточек не осталось! Взяли!

– Не надо, крещеная ведь, по-христиански и схороним. Несите в сад, до утра там полежит,  
пока придет власть наша.

– Айда на сход! Там что-то гомонятся мужики. Гулкое пламя освещало сходное место.  
Сход тоже ревел, Феодосий, весь в пламени, весь в кипении, орал:

– На Оханск! Поднимем бунт! Деревни пойдут с нами! Все сметем! Был бы огонек,  
а пламя будет.

Из соседних деревень, колотя лаптями по крутым бокам своих клячонок, скакали на  
помощь мужики, думали, случился пожар. А здесь? Здесь уже случился бунт, маленький, но  
уже бунт.

– Будя, не надо подымать бунта!

– Поднимем, однова помирать.

– Перебьют нас!

– Больше хлеба другим достанется!

– В Оханске инвалидная команда, арестантская охрана, а там казаки приспеют и поко-  
лотят почем зря.

– И тех свалим, нас много, с нами вся Расея! – орал Феодосий. – Гореть так гореть! Фома,  
гони сюда своих коней, сядем все на конь, и сам черт не страшен будет.

– Никиту в голову, он солдат, герой, знает все артикулы, команды.

– Никиту в голову! Феодосия подручным! – орал со всех сторон.

Зазвенели бунтарские колокола во всех деревнях, заколготились мужики, скачут на под-  
могу осиновцам.

– Веди нас, Никита Тимофеевич, припомним кое-кому Пугачева. Веди!

– Спасибо за честь, – поклонился сходу Никита. – Но дозвольте слово молвить. Значит,  
так, охолоньте! Затеваеете вы не дело! Подрались ладно, и хватит. Мне че, я один, как перст

указующий. Возьму свое ружье – и в Сибирь. А у вас семьи, подумайте, допрежь затевать бунт. Я сам усмирять бунты, не устоять вам супротив солдат аль казаков. Они обучены убивать, а вы землю пахать.

– Кончай глаголить, веда, веда, Никита!

– Ну что ж, перечить народу не буду, поведу.

– Дядя Никита, не надо! Воевать против царя – одно что воевать против бога! – закричал Андрей.

– Молчи, племяш, с меня началось, мне и кончать.

– Но ведь вас побьют?

– Побьют – это точно. Но пусть мужик перекипит, перебродит.

С конюшен Мякининых гнали коней, одни под седлами, другие без седел. Сам же Фома отказался ехать с бунтарями, живот схватило.

– Взять сына в заложники! – приказал Никита. – Ларька, иди ко мне! От меня ни на шаг! Понял ли?

– Понял. Мне и самому охота подраться, – усмехнулся Ларион.

– Веда, Никита, не медли, могут упредить оханцев.

– Тогда вооружайтесь, у кого есть ружье – несите ружье, нет – его топор заменит. Лавиной пойдем. Лавиной, только так можно смять врага.

«Эх, мужики, мужики! – грустно думал Никита. – Ну куда вас несет? И где вы остановитесь? – Не помнит Никита, чтобы солдат отказался стрелять в мужика-бунтаря. Присяга. – Всех расколотят, скольких еще детей осиротят». Никита тронул рукой золотой нательный крест, подарок бунтаря-офицера, которого Никита с друзьями провожали в Сибирь, за душевность солдатскую и подарил. Никого не винил, что гонят в Сибирь. Только иногда говорил: «Дурни мы, позвать бы за собой мужика – не устоял бы Николай Романов...»

Никита был облит огнем пожарища. Дом урядника стоял на отшибе, пожар не мог переметнуться на другие дома, но Никита хмурил брови, будто пытался найти брод в этой сумятице, но его не было.

– Други, расходись и вооружайсь! У кого есть кони, все на конь! Расходись! – Наклонился к Феодосию, тихо сказал: – Братуха, будем биты; может, сможем остановить народ?

– Нет, пустое, и этот бунт, даже будем биты, все лишний вершок к воле – капля на голову неразумного царя, – ответил Феодосий, ушел выбирать коней для себя и командира-атамана.

Прискакала Марфа на пузатой кобылице. На плече дубина, как бревно. Митяй тоже хотел идти бунтовать, но Марфа его осадила:

– Сиди дома! За детьми досматривай, хозяйство блюди – може, нескоро вернусь, а може, совсем не вернусь. А потом, тебе могут на войне очки разбить, где другие возьмешь?

– Я их тесемками подвяжу – не спадут.

– Молчи! В лоскуты испорю!

Митяй остался дома.

– Дядь Никита, не ходите с ними. Они бунтуют от голода и нужды, а у вас пенсия, кресты. Все ведь сымут, пропадете, – говорил Андрей.

– Плохой ты советчик, Андрей. Мне в кустах сидеть не след, народ на росстанях бросить – не дело. А потом, за урядника с меня так и так кресты и пенсию снимут. А ты пойдешь с нами или нет?

– Нет, бунт не божье дело.

– А Ефим-то Жданов идет. Он дрался на нашей стороне – знать, припекло?

– Это его дело.

– Ты, Андрюха, вставай-ка в голову парней, да проследите за деревней, чтобы зубинцы нас не подожгли, – тронул Ефим Андрея за плечо – Собирай погодков, вас пока втравливать в бунт не будем.

– Но ить... дядя Ефим, дело-то не божье?

– Все, что от люда да от души, то божье, – посуровел Ефим Жданов.

Иван Воров, который уже держал мякининского жеребца под уздцы, потерял свою бороду-лохматень, усмехнулся.

– Благословляю, ежели что, и на бой, держитесь! – перекрестил Жданов Андрея.

Ослушаться своего наставника Андрей не посмел, собрал парней и по совету Никиты расставил их по всей деревне. Часовым запретил спать.

Бунтари ушли на Оханск. Андрей и Степан Воров проверяли посты. Андрей думал: «Убит Варин отец, в смерти его виноваты Силковы, через Никиту началась драка. Отвернется теперь от меня Варя. А потом как ей в глаза смотреть?» В голове звон, дышалось тяжело, будто перед грозой или в подземелье демидовских штолен. Убежать бы в степь, на угорья, упасть бы на травы и все продумать. Но нет, Ефим приказал, его он не слушается, учителя не слушается, как не слушается и солдата.

## 10

Никита со стороны смотрел на свою армию, отъехав чуть с дороги. Нет, это не отряд солдат, даже не отряд разбойников, а истинная мужицкая толпа, с ревом, гамом идет на Оханск. И рев этот слышен за десятки верст, а потом гудят бунтарские колокола, а кое-где горят и помещичьи усадьбы, Нет, этой толпой управлять невозможно. Никто не слушает и не исполняет приказов атамана, все рвутся вперед, чтобы душу отвести, на ком-то сорвать зло, обиды, пролить кровь врага. Валит валом, на конях и пешком, пермяцкая вольница. От каждой деревни свой атаман, а каждый атаман сам себе голова.

Никита пытался создать хотя бы головной отряд, который бы первым влетел на конях в Оханск, перебил бы солдат, а днем, может быть, удалось бы создать подобие воинской дисциплины. Разбить бунтарей на отряды, поставить деловых командиров. Но где там. Втянутый в неистовый водоворот, скакал с этой толпой на Оханск. Рты набок, изо ртов злые матюжины, рубашки надулись колоколами, души настезь. В бой!..

Рядом скачет, тоже на добром жеребце, Ларион. За поясом у него два пистолета, сбоку шестопер. Чисто разбойник. Ларион знает, что их ждет где-то перед Оханском засада. Отец тайком послал туда нарочного. Поэтому нехотя втягивается в эту пучину. Уже не отмежеваться. Позади скачет Феодосий, тоже на мякининском коне, с боков Иван Воров, Ефим Жданов и Марфа. Страх сжимает сердце. Вот-вот рывкнут ружья из засады, скосят первые ряды, как коса траву. А если еще есть у оханцев пушки, то и вовсе беда...

Небо чуть посерело. На глазах ширился оком рассвета. Бунтари вылетели на утяжистое угорье, здесь решили подождать пеших, потому что уже виден Оханск, уездный город. Он широко стекал с угорья к берегу Камы. Брать город всей оравой.

А навстречу залп, другой, визг пуль, стон людей, ржание испуганных коней. Но не побежали бунтари, как думал Никита. Пешие уже подтянулись и – вперед.

– Раааааа! – першит в горле от заполошного крика. Качаются притушенные рассветом звезды, еще сильнее качается на небесных волнах луна.

Из засады вылетели казаки, башкирцы, эти рубить умеют, но и бунтари тоже кое-что умеют, этому даже подивился Никита. Вон Марфа мечется на своей кобылице среди казаков, бросает на их головы свою страшную дубину, падают кони, люди. Марфа рвется вперед. Рядом Феодосий, тоже с дубиной, так сподручнее, она дальше достанет, чем сабелька. Иван Воров, тот с кузнечным молотом на длинном черенке, тоже крушит и людей и коней. И другие бунтари тоже дерутся насмерть.

Однако не устоять мужикам перед обученными к бою солдатами, казаками. Солдаты со штыками наперевес, под барабанный бой, идут молча в наступление, отжимают к лесу Ники-

тову «пехоту». Теснят казаки и башкирцы «конницу». Башкирцы ловко накидывают петли на шеи бунтарей, сдергивают их с лошадей. Рубят бунтарские головы казаки. Толпа дрогнула, подалась назад, затем круто повернула и лавиной бросилась к спасительному лесу. Разгром, полный разгром.

Бунт, будто камень-валун, скатился с крутизны и разбился на мелкое крошево. Нет больше бунта, а остались перепуганные и разбитые на мелкие отрядики бунтари. На один бой запала не хватило. Хотя бунтарей в десять раз было больше, чем солдат и конников. Пермский губернатор оказался дальновидным, послал по уездам отряды казаков, башкирцев. В деревнях гудят еще колокола, горят усадьбы. Но уже большого бунта не будет, главное ядро бунтовщиков разбито.

Никита с друзьями отбиваются от нападающих казаков. Тоже отходят к лесу. Да и казаки не очень рьяно нападают на них. Зачем напрасно подставлять головы под дубину этой бабы-богатырши, под молот этого косматого мужика? Все равно не уйдут дальше своей деревни. Всех сыщут, всех словят. Лариона среди отступающих нет. Он в числе первых бежал с поля боя. Он уже дома, спрятал свое оружие, забрался на печь и дрожит от страха, зубы почкаивают. Лес вобрал в себя крохотный отрядик, казаки не преследовали. А зря! Знай бы они, что это уходили заглавные бунтари, – не отпустили бы.

Казаки устремились за пешей толпой, чтобы руки поразмять, чтобы кровью людской насытиться.

Мужики ручейками растекались по лесам и болотам, прятались в чахлах травах, в безлистных лесах. А потом, крадучись, бросая коней и дубины, пробирались домой, Кони придут, дубины теперь без надобности.

В деревнях грабеж. В деревнях небывалое насилие.

Прямо от солнца шли черные тучи. Оно, солнце, только что взошло и тут же скрылось за тучами. Наверное, чтобы не видеть на полях, дорогах изуродованные трупы людей.

Отряд башкирцев ворвался в Осиновку. Они, распаленные боем, врываются в дома, хватали что под руку попало, волокли за собой девушек, наматывали косы на руку. Но на них бабы с ухватами, вилами, с топорами и косами мужики, кто успел вернуться первым, отбивают своих чад, не отдают их на поругание инородцам. Гудит и стонет колокол. Мякининские девки уже под башкирцами. А, черт, еще не хватало Фоме иметь внука узкоглазого! Но он не бросается на защиту своих дочерей. Ляд с ними, давно спорченные... Мается животом, штаны не успевает снимать.

Туча, погрохатывая, накатывалась, напознала. Солнца не видно.

Уральские казаки тоже не отстают от башкирцев, грабят русских людей-бунтарей. И грабить вроде нечего. Но и не только бунтарей, они ладно пощипали братьев Зубиных, Фому Мякинина. Но скоро подъехало уездное начальство, подошли арестантская и инвалидная роты, и грабеж прекратился, насилие пресекли. Деревня окружена. Идут повальные аресты...

Феодосий Силов успел проскочить окружение, ждали прихода солдат. Андрей спросил:

– Где бросили Никиту?

– Порешили оставить в лесу, ему нельзя показываться на глаза. Сразу петля. Он просил нас, чтобы мы всю вину – и за бунт, и за убийство урядника, Зубина, наших бедняков – валили на него. Мы согласились. А он потом уйдет в Сибирь, а Сибирь велика, ищи-свищи.

Затем все началось по закону, уже без грабежей и насилий, по царскому закону: следователи, прокуроры, адвокаты, от которых отказались бунтари, лишние деньги платить, судебная коллегия, выездная, конечно. И все в один голос: «Никита затеял драку, Никита убил урядника, Никита подбил народ на бунт, Никита повел их на Оханск, чтобы все сжечь и разграбить, царскую власть порушить...»

– Но где ваш Никита?

– Никита в бегах. Никитин след уж простыл.

– Так почему же вы его сразу не арестовали, когда он убил урядника, повел вас на драку, потом бунт?

– Арестуй, ить у него ружо, да и герой он. Неможно Никиту заарестовать было. Грозился сжечь нас, ежли мы пойдем супротив него. О, Никита страшный человек, мы досе его боимся.

То ли тупоголов русский мужик, то ли настолько хитрый, что сто прокураторов не разберутся – кто же главный виновник бунта?

Хотели Зубины поставить во главе бунта Феодосия, всю вину на него свалить, отомстить за смерть отца, но сельчане сказали: «Ежли покажете на Феодосия – спалим вас вместе с домом. Показывайте на Никиту!» Братья Зубины струсили и тоже оговаривали Никиту как главного виновника бунта.

## 11

– «Именем Его Императорского Величества, государя Всероссийского, короля Польского, великого князя Финляндского, Курляндского и прочая, прочая, прочая, – нараспев читал приговор судья, – Силова Феодосия, сына Тимофеева, сослать на вечное поселение в Сибирь, на правом плече поставить клеймо «СП», кое означает, что сей муж ссыльнопоселенец, ежели убежит, дабы опознан был. Также наказать Силова Феодосия, сына Тимофеева, розгами в приличествующих размерах – сто штук...»

Ложился сын Тимофеев на широкую лавку, крепкими ремнями вязали его, и началась порка. Со свистом впивались в тело просоленные розги, темные полосы вздувались на спине, а скоро брызнула кровь, сочная мужицкая кровь, неоплатная кровь. Феодосий тихо покряхтывал. Нет, он не закричит, не уронит своей чести перед народом и палачами. Да и пусть народ видит, пусть слышит, что не так просто выбить из Феодосия Силова бунтарский дух. А раз пощады он не запросит, значит, не покорился врагам.

В глазах темно, в памяти провалы. Но спокойно поднялся с лавки Феодосий, застегнул штаны, надел рубашку, поклонился народу, мол, прости, ежли что было не так. Чуть покачиваясь, пошел домой, чтобы отлежаться на печи, полечить спину лопухами. Заживут раны, но не зажить ране в душе.

Подошла к лавке Марфа Плетнева, поклонилась народу и сказала:

– Не стыдитесь наготы моей, бабоньки и мужики, сей срам падет на головы тех, кто изгаляется над нами. Не по своему желанию ложусь на лавку, а по приговору царскому, ему ведомо, сколько Марфе дать розг. Приму, чего уж там, – подбадривающе усмехнулась.

И засвистели розги, во всю силу старались экзекуторы-казаки. Они помнят эту бабу с дубиной, выкладывались. Уставал один, его тут же заменял другой. Расписывали широкий зад и спину затейливыми узорами. Спина стала похожа на кусок окровавленного мяса. Но не закричала Марфа, даже не застонала, стиснув зубы, кусая губы до крови, ни звука не проронила. Упала сотая розга, можно вставать. Прощена, очищена от духа бунтарского. Ха-ха! Не очищена, а еще больше он укрепился в ней. Случись еще бой, то потяжелее возьмет дубину Марфа.

Секут осиновцев. Ждут их крика, стога. Пустое. Говорят же в народе, что дюжливей осиновцев нет. Только Фома Мякинин визжал и кричал. Может быть, не столько от соли, сколько оттого, что отсудили все его добро Зубиным: кони, коровы, пашни, покосы и даже дом – все зубинское. Теперь Фома оказался беднее Феодосия Силова. Но не верят мужики в бедность Фомы, есть у него золото, что не нашли жандармы. Есть. Не таков Фома, чтобы все отдать! Можно бы все стерпеть, но ведь и Фому в Сибирь!..

Присудили порку и Андрею Силову. Он наивно спросил:

– А меня-то за ча? Ить я не бунтовал.

– Не бунтовал, так еще забунтуешь. Пороть, чтобы другим не было повадно. Одного семя. Начинайте!

Андрея вызвался пороть Гурьян Зубин. Теперь он в доме Зубиных за старшего. Здоровенный пермячина, космат, глаза рачьи, руки, как лапы медведя, широкие, волосатые. Весь в отца. Сек Андрея и приговаривал:

– У меня ты заорешь! Запросишь пощады! За отца! За Варьку! Лапотник ты проклятый. Иах! Иах! Иах!

Варю бил мелкий озноб, она кусала губы, закрывала глаза, чтобы не видеть кровавых полос на спине Андрея. Рванулась, но Григорий удержал ее за плечо, обмякла. Пусть секут, пусть! Он тоже виноват в убийстве отца! Хотя отец полез в драку первым и убил его Ларион. Все, все виноваты!

Варя оцепенела, перед глазами темные круги. Истошный крик заставил ее вздрогнуть: неужели Андрей закричал? Но нет, это кричала Софка. Она нырнула под руки казаков, бросилась к Андрею. Прикрыла его собой. Но Гурьян, распалась, хлестал Софку, от его ударов рвался сарафан. Софка визжала, орала, но не оставила Андрея.

– Убрать бабу! – гаркнул пристав. – Порку продолжить! Нажимай!

– Гришка, иди сюда! И ты побей злодея! Посеки супротивника, чтобы неповадно было ему за Варькой бегать! Ну!

Но Григорий Зубин взял Варю за плечи и повел ее через толпу. Расступилась, благодарно смотрела вслед Григорию. Не согласился творить грязное дело. Знать, и Зубины не все сволочи и брандахлысты.

– А Софка хороша! Молодец, Софка! За дружка под розги? Ну и ну!

– Знать, люб, а за любого и под топор пойдешь. А он тожить хорош, сменял беднячку на богатейку. За деньгой погнался.

– А може, не за деньгой, може, любит? Это жить не все, ежли Софка любит Андрея, надуть, чтобы ее Андрей любил. Путаное дело любовь-то, – переговаривались те, кто еще не был сечен, кто вообще ушел от порки и Сибири, Нельзя же всю деревню гнать в Сибирь, всю деревню считать бунтарями.

Секли и Ефима. Тоже не кричал, а творил молитвы. Телом слаб, зато душой силен.

Никите присудили смертную казнь через повешение. Нарушил присягу, поднял мужиков на бунт. Осталось поймать бунтовщика и привести приговор в исполнение. Но как поймать? Где ловить? Никиту прячет земля и небо. Никиту прячет народ. За поимку преступника назначили премию, пятьсот рублей ассигнациями.

Ивана Ворова, Ефима Жданова, Фому Мякинина, Марфу Плетневу, как и Феодосия, – на вечное поселение с клеймами. Тридцать пять семей тоже на поселение, но без клейма.

Зубины не прочь бы изловить Никиту и получить большие деньги. Они даже знали, где он прячется. Но мужики их снова предупредили:

– За розги мы вам простили, все одно кому-то надо было сечь, но за Никиту!.. Скажите начальству, что он ушел в Сибирь, пусть там ищут.

Конечно, трусили Зубины и пошли на попятную.

В деревне стоял взвод солдат. И ушел он только через две недели. Солдаты объели и разорили мужиков.

Ссылнопоселенцы написали прошение губернатору, чтобы он разрешил им выехать в Сибирь с семьями, скотом и скарбом на «вольные хлеба», без надзора полиции. Губернатор согласился. Пусть себе едут, так казне легче, а уж коль сорвутся со своей земли, да с семьями, то назад не возвратятся. Чем меньше будет в губернии сорвиголов, тем легче и спокойнее губернатору.

Однако не было единодушия среди мужиков. Больше всех стонал и плакался Фома Мякинин, сторонился товарищей, на Феодосия ворчал:

– Через Никиту все пошло. Ну увел бы коровенку урядник, че это, для нас впервой?

– Ну, ежели через Никиту, то ведь он тебя не звал драться, – усмехнулся Феодосий. – Никто не звал. Сам пошел.

– Бунтарить ты приказал. Куда денешься. И закрутили, втянули.

– А ты посыльного в Оханск направил, вот и побили нас. Скажи спасибо, что мы отходчивы, а то давно бы голову свернули. Да и всяк знал заранее, что будем биты, потому и не трогаем тебя. Внял ли? Тогда не гуни, былинка ты полевая. Ежли хочешь заработать на Никите, то шуруй в лес. Ты знаешь, где мы медведя брали, он там хоронится в нашей закопушке. Ну, иди же!

– Нет. Дважды не изменяют. Можно и голову потерять. Вчерась видел сон, будто сам хожу со своей головой под мышкой и прошу сельчан, чтобы бросили в ту голову деньги. Нет.

– Тогда ладно. Мы тут порешили сбиваться в общину. Скот, лопотину, едому, тягло – в один котел. Будем гоношить для детей теплые возки, мастерить печурки, шить палатки – ежели не сможем встать на постой в деревне, будем спать в палатках. Печи обогреют. Решай. От смерти, как и от судьбы, не отмахнешься. Даже холсты, что уготовили на смертный час, тоже пустим в дело. Богу, поди, все одно, кто в какой лопотине предстанет перед его очми. Ну, как ты? Присоединяешься?

– Похожу. Подумаю, может, один пойду.

– Не неволим. Один – так один.

Одна ночь сменяла другую. Спать бы надо, силы копить для дальнего перехода, но не спится. А зря. Кто осилит эту дорогу, что идет навстречу восходам, тому жить века.

В одну из темных ночей провожали Никиту. Пришли родные и друзья. Присели чинно на валежину, долго молчали. Огонь полошил тьму. С озер и стариц слышалось кряканье уток, гоготание гусей. Они тоже собрались в дальнюю дорогу, как и Никита. Эти пойдут к теплу, а Никита – в холод и неизвестность. Пойдет по бесконечному Сибирскому тракту. Все общинами, а он в одиночку. Чуть горестно и сумно на душе. Но и он когда-то вольется в свою стаю. Все верят, что не будет Никита одиноким.

Одет Никита под нищего. Сума за плечами, в руках посох. Борода включена, волосы спутались под рваной шапкой – не узнать Никиту. И пойдет он топтать в ночи усталые звезды. Мерять землю ногами.

– Иди, братуха, с обережкой. Тянись до Даурии, есть такая страна, потом беги в Беловодское царство.

– Пустое. Далеко я не побегу. Соберу ватагу и буду подсыпать жару царю на хвост. Вспомнит он Никиту Силова. Вспомнит.

– В разбой пойдешь? Смотри, дело то несправедное, греховное, – пропел Ефим. – Бунт – дело праведное, ежели весь народ. Знать, от бога.

– То так. Сегодня ихняя взяла, когда-нибудь должна и наша взять. Бунт не кобыла – не повернешь, куда хочешь.

– Потому и не везет мужикам, что нет у них головы умной, увесистой, чтобы всех в один кулак собрать. Вспыхнули порохом, покипели смолой – и в бега. Еще нет у вас за спиной верных друзей. Прежде чем нам было выступать, надо бы месяц-другой людей подготовить. А так не войско, а куча горлопанов. Царь всех нас, солдат, собрал в кулак и тычет тем кулаком куда надо и где надо. Добивает строптивых. А вы растопыренными пальцами тычете, потому вас и колотят. Голова, умная голова нужна впереди народа. А я неподходящ. Не та у меня голова. Артикулы знать – этого мало, чтобы командовать народом. Конечно, артикулы тоже нужны, для боя и обороны. Но...

Андрей привалился плечом к дяде, слушая его ровный голос.

– Вы тут уж все сделайте, чтобы Варька ушла с Андреем. Ну, прощай, племяш! Что бы ни случилось – не стой в стороне от народа. А твою хлипкость душевную жисть излечит.



Розги помогут, – усмехнулся Никита. – Голова у тебя светлая, скоро понимаешь слово. Погоди вот... – Никита расстегнул зипун, снял золотой крест и повесил на шею Андрею. – Носи и помни, что это крест бунтаря. Пришел к вам служивым, ухожу бунтовщиком. Сам умирал, теперича меня умирили. Смертник.

Потянулись мозолистые руки, чтобы обнять залетного жоака, пожать крепкую руку. Не отказался ведь, повел, хотя знал конец этой песни.

– Уходи с богом, от чиста сердца ты все делал. Прощай! Хотели сделать большую бучу, а вышел махонький огонек. Прав ты – пастуха бы нам хорошего, а то тычемся мордами, как неразумные кутята.

Шагнул Никита в ночь и растаял, будто его и не было. Будто он привиделся, как сон. Но болят спины от розг, гноятся до сих пор. Значит, был Никита, Но укатился приبلудной звездой невесть куда.

Мужики долго смотрели во тьму. Молчали. Да и о чем говорить, без того уже все сказано, а что еще не сказано, Сибирь подскажет. Холодная и безлюдная Сибирь...

## Часть вторая. Ссылные

### 1

Осень...

Случается еще теплая погода, но чаще бушует холодный ветер. Ветер сильный, рукастый, давит силушкой неумной на грудь. Отдохнул лето за голубыми горами, отстоялся. Треплет мужицкие бороды, рвет армяки, холодными иглами пронизывает тело, летит, летит из Сибири, далекой и загадочной. Ветру что? Он крылатый, сегодня перекатил через Урал, завтра вернется назад. А вот пермяки уходят навеки, навсегда. Не видать им больше своей земли. Дорога назад заказана. Просторами Сибири закрыта. Разве когда-нибудь внуки или правнуки принесут поясной поклон родной деревне. Все может быть...

– Мдааа! Уходим вот, – протянул Феодосий. – Прощай, земля-матушка. – Обнял старика ветер гулевой, окатило солнце чистыми лучами. Не шелохнется старик, долгим взглядом смотрит на осеннюю безрадостность, будто хочет увидеть свое нежданное Беловодье, что родилось в мечте.

Печаль и радость рядом. Душа разбита надвое. Одна половинка успела уже прирасти в мечтах к неизвестному краю, вторая продолжает репейником цепляться за землю и старый дом. Землю-мачеху, землю-обидчицу, обильно ее смочили мужики потом и кровью. И болит душа, мечется, и нет ей покоя. Бойтся, что в том краю тигровом нет того мужицкого царства и не было, не найдется места для счастья. Не полюбит мужик ту землю, холодную и чужую. Не научится ласкать ее вот таким же теплым взглядом, как ласкает сейчас. Лелеять грубыми руками, как лелеет ее сейчас. Без любви к земле – нет мужика. Без мужика – нет земли. От этого снятся сны клопастые и нудливые. Примеряется пермяк во снах к новым землям, как цыган к косой кобыле, чтобы купить ее за полтину, а продать за пять рублей. Но все будет не так, много дороже придется платить мужику за ту кобылу. А вот за сколько продаст, то бабушка надвое гадала. И каждому хочется думать, что все будет хорошо, приветит их неведомая земля. Полюбится. Но здесь прошла их молодость, первая любовь, пора зрелости, и в ней, трудной, нашлись минуты для теплых воспоминаний.

А тут еще Митяй ворчит сбоку:

– На своей земле и вода была вкуснее. Что будет там?

– Что будет, увидим, молчи!..

У Андрея все проще, молодость; хотя и у него тяжесть на душе, но он улыбается. Вчера видел Гришу и Варю. Варя дала зарок бежать с ним. Так просто не убежишь, договорились ехать к тетке в Кунгур, там она и будет ждать Андрея с обозом. Оттуда и побегут. Тетка, родная сестра Зубина, ненавидела своего брата. Обещала во всем помогать Варю. Гриша тоже на их стороне, пусть хоть Варька поживет счастливо. Сам-то он выгнал свою женку, теперь ему никто не указчик. Безродна, пять лет живут, а детей нет. Хотел бежать со всеми вместе, но раздумал: скоро делиться будут, не хочется своего надела упускать.

Улыбается Андрей. Лицо опушила первая бородка. Молодость – сестра дальних дорог. Совет переселенцев тоже решил во всем помогать Варю, портки, мол, сымем, но девку вырвем из рук Зубиных. Старики знают, что такое любовь, когда-то сами ее выстонали, недолюбив, разошлись в разные стороны, кому бедность помешала, кому солдатчина, а кому и богатство. У каждого своя причина.

Вчера Гриша отвез Варю к тетке. Хорошо Андрею. С ним Варя. Они разломают на две половинки черный хлеб, разделят пополам дорожную соль, судьбу дальних скитаний на свои плечи взвалят и пойдут в неведомое...

По одному, по двое сходились мужики, будто случайно завернули на пашни. Но ясно Феодосию, что это не простая прогулка, а прощание с землей. На лицах темень, брови сурово насуплены, дыхание неровное. То ли хотелось людям надышаться родным воздухом, то ли от волнения так тяжело дышат. Дома не сидится, тоска, метание. К отъезду все готово: ждали снега, санной дороги. Понимает Феодосий, что тяжело мужикам, ему тоже тяжело, но он – голова обоза, должен взбодрить людей, встряхнуть, чтобы у каждого хватило сил идти в дальнюю дорогу.

– Ну что сникли, мужики? Радоваться надо. Подать сняли, в рекрутчину не будут брать наших детей, дают чуток на пропитание, так что куда ни кинь, там и радость.

А что было здесь? Изгал и розги. Оплевали нас и нашу землю, там будем сами себе хозяйева. А ежели доберемся до Беловодья, то и вовсе заживем. Там тожить нашинская земля. Расейская. Солнце везде одно, подсветит нашей нужде. Это хорошо, что нас гонят, пермяк ленив умом, все ждет, когда его турнут под зад, а нет, так будет держаться за свой рваный треух до смерти. Теперича мы сами себе цари и бояре.

Лица потеплели. Правду говорит старик, чего уж держаться за свои гнилые дома, за землю чахлую и неурожайную? В Сибири земли свежие, молодые, родят будто бы по двести пудов с десятины, здесь же едва наскребалось тридцать.

Шаркают мужики лаптями по примороженной земле, пламенеют их бороды на шалом ветру.

– Вот только ради вольности и идем, так ни за что не пошел бы, – тянет Иван.

– Кто тебя просит, молчи уж, клейменный.

Притих Иван, уже не показывает свои представления; когда просят, вяло отмахивается рукой и отворачивается.

– Есть слух, будто царь готовит вольную мужикам.

– Чудак, пусть хоть сто вольных будет, но царь и помещики себя не обидят. Так и так их карман будет полон, а наш – пуст.

– Пока дадут вольную, мы уже сами будем вольными, – проговорил Ефим. – Царь ить не милостив к своим мужикам.

– Вот это да, Ефим. Ить ты за всю жисть первый раз сказал разумное слово. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Дали добрую порку – и заговорил, а ить порот был сто раз!

– Энта оказалась особой, – засмеялся Ефим. Повеселели мужики. Заживает спина, чешется.

– Сходят коросты, зарастает все, вша их заешь!

– Не ждите, мужики, послабления, равными мы можем быть с царем и помещиками только на погосте. А там, в том краю, мы можем зажить весьма хорошо.

– Не дадут нам пожить, найдут нас жандармы.

– Дотянется царская лапа и туда.

– Не дотянется, ежели бы я знал, что дотянется, рази бы я пошел туда. Там мы будем жить как у бога за пазухой. Сибирь велика, найдем место, где спрятаться.

– Детей растеряем по Сибири, – вздыхали мужики.

– Это да, жалко, а может, обойдется?

– Марфа боится, что Митяя потеряет.

– Митяю надо давно быть хозяином, а он под Марфой ходит.

– Хозяин я, вот сегодня же поколочу Марфу.

– Слабо!

– Поколочу.

– Ладно, посмотрим.

– И как я влип в это дело? – сокрушался Фома.

– Судьба, Фома, судьба! Нам хотел бока намять, а намяли тебе. От судьбы, как от комара, не отмахнуться.

– Чтобы тому Зубину в гробу перевернуться, чтоб его черти в аду смолой горячей обливали!

– Вместе грабили, а теперича враги. Чудно жисть устроена!

– Житуха штука крученная, как береза на ветру, не поймешь, куда и завернет. На дрова не расколешь, на сто рядов все перевилось, ничего, не печальсь, вместилах будем стынуть на ветру, знобиться в снегах. Денег-то хоть чутка оставил про запас?

– Оставил, не все же мне валить в общий котел.

– Не силуем. Дал ты, ладно, больше не требуем. Хорошо, что согласился идти общиной. Один бы не дошел. С пашен размеренным шагом шел кузнец Пятышин.

– Чего головы повесили? – спросил он мужиков.

– Да так, нудновато что-то, – ответил за всех Ефим.

– Зря нудитесь, все будет ладно.

– У тебя всегда все ладно, живешь в достатке, ни разу не порот...

– Дак ить я с вами иду. Чудилищи. Вот сходил на свою землю, промерял ее шагами, вроде не убавилось. Продаю Зубиным. Хочу посмотреть Сибирь. Беловодское царство.

Ахнули мужики:

– Не гонят ить. Ошалел! Умом трекнулся!

– Когда погонят, то радостей будет мало.

– Детей пожалей.

– А у вас рази не дети? Пожалую. Может, они вольную жисть увидят. Этим и пожалую. А кто умрет, то, значит, судьба.

– Одумайся, Сергей Аполлоныч. Кузнец, свои земли...

– Все продумал, благо ночи стали длинны. Кошевенку сварганил, в ней дети и перезимуют. А потом, куда вы без кузнеца? Тяжко будет, все хоть коня подкую, полозья новые под сани подведу. Берете ли?

Молчат мужики. Жаль им Пятышина. Хороший человек, отличный кузнец. А уж мудрости не занимать. Если Феодосий огонь, то Пятышин – вода. Один другого будут дополнять. Два таких вожака приведут в любое царство.

– Ну, чего молчите? Аль не рады, что с вами иду?

– Спаси тя бог, кланяемся в ноги, Сергей Аполлоныч. Примам, ходи с нами! – обнял Пятышина Феодосий.

– Ну, ну, ладно, ить я не баба. Знатчица, иду. Мало ли что, кузнец под рукой – заглавное дело. Будем пытаться счастье на одной дорожке.

Приободрились мужики. Вернулись в деревню.

А тут еще Митяй дал представление, подскочил к Марфе, свистнул ей в ухо, та улыбнулась и непонимающе посмотрела на Митяя.

– Тю, шатоломный! Чего это драться вздумал? Вот возьму и завяжу узлом, всей деревней не развязать.

– А то и затеял. Кто хозяин в доме, я или ты? – Ударил Марфу по щеке, Марфа усмехнулась и бросила:

– Мужиком стал. Хорошо. Думала, так дитем и останешься. Побил, иди к мужикам, вона стоят, хохочут над тобой. Иди, не мешкай, делом занята.

Митяй, гордый от сознания, что побил Марфу, вернулся к мужикам. Приняли без улыбки, хотя Иван корчился от внутреннего смеха. Пошли в кабак Знобина, чтобы выпить по чарочке водки, души встряхнуть. Тяжело им – душам-то...

## 2

Упали снега, встали реки, даль прикамская подрумянилась. Тишь и мороз, но зябко телу, не греют зипуны и даже шубы, дрожь в душе, под сердцем неуют. Над обозом, который растянулся по улице, повис густой пар от дыхания людей, коней, коровенок. Был день чудотворной Богородицы Казанской. Не зря выбрали этот день пермяки, авось чудотворная будет охранять их в дальнем пути. Пойдет обоз ссыльнопоселенцев по Казанскому тракту, затем за Пермью выйдут на Сибирский. А там... Там путь не изведан, путь долог. Плакали люди, ржали кони, мычали коровы, выли собаки. Все говорили быстро, взахлеб, спешили досказать невысказанное. У всех страх перед дальней дорогой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.